**Артем Веселый «Россия, кровью умытая»**



Весёлый Артём (настоящее имя Кочкуров Николай Иванович) (1899, Самара – 1938, в заключении), русский прозаик. Начал работать с 14 лет, в 1917 г. вступил в партию большевиков, был агитатором, печатался в газетах: опубликовал ряд очерков и рассказов. Был бойцом Красной армии, матросом Черноморского флота. В1921 г. в журнале «Красная новь» опубликовал рассказ «В деревне на Масленице» и пьесу «Мы», посвящённые событиям революции и Гражданской войне, в 1923 г. в журнале «Молодая гвардия» была напечатана повесть «Реки огненные». Главным произведением писателя стал роман «Россия, кровью умытая» (опубл. частично в 1929, полностью – в 1932), его Артём Весёлый дополнял и переделывал всю жизнь. Действие романа происходит в Поволжье и на Кубани, где разворачивается борьба за новую жизнь, происходит грандиозная ломка, рушится многовековая история, что несёт не только счастье, но отчаяние и горе; нарушены все запреты, утрачены все ценности, разрушены дома и семьи. Не завершив роман, писатель начал работать над произведениями, посвященными завоеванию Сибири Ермаком (роман «Гуляй, Волга», 1932; пьеса «Гуляй, Волга», 1933; киносценарий «Завоеватели», 1935). С 1927 г. и до ареста писатель работал над циклом стихов в прозе «Домыслы», который не был завершён. При жизни писателя было опубликовано всего несколько стихов в прозе, значительная часть архива погибла при аресте. В 1937 г. писатель был арестован, его книга «Россия, кровью умытая» названа клеветнической, в 1938 г. он расстрелян.

**Роман. Фрагмент** **Смертию смерть поправ**

   *В России революция — дрогнула мати*

   *сыра земля, замутился белый свет…*

   Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.

   По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.

   Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головни в ульи людских скопищ, в костры городов.

   По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все живое.

   От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не умолкая бухали молоты войны.

   Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови воюющих народов.

   Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и турецкая Армения были объяты пламенем горящих деревень и городов. Дороги… По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.

   Грозен — в багровых бликах — закатывался тысяча девятьсот шестнадцатый год.

   Серп войны пожинал жизни колосья.

   Церкви и мечети, кирки и костелы были переполнены плачущими, скорбящими, стенающими, распростертыми ниц.

   Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гнилыми сапогами, пушками, снарядами… И все это фронт пожирал, изнашивал, рвал, расстреливал.

   В клещах голода и холода корчились города, к самому небу неслись стоны деревень, но неумолкаючи грохотали военные барабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей, вопли жен и матерей.

   Горе гостило, и беды свивали гнездо в аулах Чечни и под крышей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне. Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором — против дорогого имени — горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбачка, с тоскою глядючи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев — под телегою — рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихаючи вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.

   Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья…

   И лишь в дворцах раззолоченных — Москвы, Парижа и Вены — сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.

   — Война до победы!

   Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином.

   — Война до победы!

   А там — на полях — огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.

   Кресты и могилы, могилы и кресты.

   Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.

   В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии — на самых каторжных работах — работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.

   Лазареты… Приюты скорби, убежища страданий… Искалеченные, обмороженные, контуженные, отравленные газом — с раздробленными костями и смердящими ранами — метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыданья с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!

   Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.

   Страна была пьяна горем.

   Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.

   Война пожирала людей, хлеб, скот.

   В степях поредели табуны коней и отары овец.

   Сорные травы затягивали оброшенные поля, бураны засыпали поваленные осенними ветрами неубранные хлеба.

   По дорогам поползли и поехали, куда глаза глядят, первые беспризорники.

   Отказывала промышленность — не хватало топлива, сырья, рабочих рук, — закрывались фабрики и заводы.

   Отказывал транспорт — лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклевывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.

   Письма с фронта…

   «Бесценная моя супруженица!

   Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со свояком Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на леченье в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу заявится.

   Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: „Еще сто лет воевать буду“. Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.

   Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу — читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана — читаю.

   Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: „За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно…“

   К сему подписуюсь

*Максим Кужель»*

   Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.

   А там — на далеких полях — снегами да вьюгами крылась молодость!

   В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколок снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополуночи приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовьсь к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов и по команде: «С богом, выходи!» — люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валились… Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду — и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задергался сормовский слесарь Игнат Лысаченко — хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, — то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан — не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, — и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот — взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой — придет весна, синим куром задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле… Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.

   Потоки огня и стали размывали материки армий.

   Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях — оглашались по церквам и на базарных площадях.

   Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи — отцы семейств, шли юноши — прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены — мужа, у детей — отца и кормильца.

Война, война…
Под рев и визг гармоней
кипели сердца
кипели голоса:
Береза ты, береза,
Зеленые прутики,
Пожалейте нас, девчонки,
Нынче мы некрутики…

   Шальные, растерзанные, орущие — ватагами — шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропащие песни…

Медна мера загремела
Над моею головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной…

   — Гуляй, ребята… Последние наши денечки… Гуляй, защитники царя, веры и отечества!

   — Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори… Я *там* был, мед и брагу пил… Слова твои мне все равно, что собаке палка.

   — Брательник, тяпнем горюшка?

   — Тяпнем, брат.

Посмотрели брат на брата,
Покачали головой,
Запропали, запропали
Наши головы с тобой…

   Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился в присядку.

   — Всю Ерманию разроем!

   — Уймись, — унимала его не видящая света жена. — Уймись, пузырек скипидарный.

   Петруха из оглобель рвался.

   — Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный. Старуха — лицо подобно гнилому ядру ореха — простирала землистые руки.

   — Гришенька, дай обнять в останный разочек.

   — Не горюй, бабаня, и на воине не всех убивают.

   — Сердцу тошно… Гришенька, внучек ты мой жаланный… Помолись на церковь-то, касатик.

   — Сват, прощай!

   — Час добрый.

   — Война…

   — Ох, не чаем и отмаяться.

   — Не вино меня качает, меня горюшко берет.

   — А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся…

   — Будя, будя, бабаня.

   Последние объятья, последние поцелуи.

   И далеко за околицей — в кругу немых полей — понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.

   И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:

   — Последнего… Последнего… Ух… Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мок виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?

   Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы.

   — Последнего забрали… Да он и вырасти-то не успел… Последнего! Ух, ух… Сыночки вы мои, головушки победные…

   Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней яруги — на вой ее — воем отзывались волки.

   По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири — кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли — шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.

   В приемных — страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.

   Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора

   — Годен. Следующий.

   Призывники тащили жеребья.

   — Лоб!

   И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клок волос.

   — Лоб!

   На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.

   Из приемной вылетали, будто из бани, — красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.

   — Забрили… Тятяша, вынули из меня душу.

   — Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал…

   — У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.

   — Что ты будешь делать… На все воля божья… Послужи — не ты первый, не ты и последний.

   — Васька, — лезет тетка через народ, — не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него…

   — Пьянай, с ног долой… За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.

   — Ох, горе мое… Сколько раз наказывала — не пей, Васенька… Нет, опять накушался.

   — Прощай, Волга! Прощай, лес!

   Казарма скорое обучение молебен вокзал.

   …У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой, сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надоевшим голосом тянул:

   — Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…

   Рявкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.

   Толпа забурлила.

   Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.

   С новой силой пыхнули бабьи визги.

   Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.

   Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Левой рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую— с зажатым в кулаке, растаявшим сахарным пряником — протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:

   — Тятенька, миленький… Тятенька, миленький…

   Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегоном.

На Ригу, Полоцк
Киев и Тирасполь
Тифлис, Эривань катили эшелоны.

   Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах — на извозчиках — скакали в бардаки.

   В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотание полупьяного дьячка:

   — Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов — Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватея — помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический воcприявших… Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная… Вечная память!

   С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.

   Над миром стлалась погребальная песнь.

   Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.

   Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков…

**Слово рядовому солдату Максиму Кужелю**

   *В России революция,*

   *вся Россия — митинг*

   Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.

   Фронтовики диву дались.

   Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу… Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии — переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катай, братцы, благодарственные молебны.

   Рады стараться!

   Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.

   — Право равняйсь!.. Смирно! Шапки до-лой!

   Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:

   — Благословен бог наш…

   Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже… Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.

   — Миром господу помолимся…

   Обкидываем себя крестным знамением, валимся на колени, лбами в землю бьем… «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немытый… И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбине, и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»

   Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру…

   Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.

   Помолились, оправились, ждем, что будет.

   Выезжает перед строем дивизионный генерал — борода седая, грудь в крестах и голос навыкате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал.

   — Братцы, его императорского величества государя императора Николая Александровича у нас больше нет…

   Помахал генерал телеграммкой, заплакал.

   А солдаты испугались и молчали.

   Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:

**ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!**

   Дух занялся!

   Музыка заиграла!

   Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим, — не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать…

   — Братцы, старый режим окончился… Восхваление чинов отменяется… Превосходительств теперь не будет, благородий не будет… Господин генерал, господин полковник и господин взводный… Дожили до свободы, все равны… Но что бы там ни было, присягу в голове держи… Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети…

   Прорвалось:

   — Ура!

   — Ура-а!

   — Ура-а-а!

   Музыка все наши крики задушила.

   Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат.

   — Помни устав, люби службу, не забывай веру, отечество… Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия… На ваше беззаветное геройство глядит весь мир…

   Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:

   — Ура!

   — Ура-а!

   — Ура-ааа… Ааа… Ааааа…

   — Пострадали.

   — Полили крову…

   — Триста лет.

   — Хватит!

   — Браво!

   — Царя к шаху-монаху на постны щи!

   Уважил нас старик словом ласковым. Сыстари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство — хоть стой, хоть падай — все равны, слава, серые орлы… Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, принялись мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров бережненько стащили генерала с коня и давай его качать.

   Хватил полковой оркестр.

   Отдышался старик, бороду разгладил и с молодцеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю.

   — Поцелуемся, братец!

   И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.

   Полк ахнул.

   Мы стояли, как каменные, и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.

   Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу… Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно — и солдаты, и офицеры, и писаря, — лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:

   — Неправда!.. Царь у нас есть и бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами бог и крестная сила! — Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказу, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.

   Не до него нам было.

   До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.

   Все были как пьяные.

   Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.

   Дело, помню, великим постом делалось.

   Распустили мы над окопами красный флаг: войне — киты!

   Живем месяц, живем другой, проводили святую неделю, троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками глиняные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей работе хрип гнули и неуемной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.

   Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоющее барахлишко, а домой, думаю, вернусь — пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.

   Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры…

   В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там — каждый нижний чин, и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке — фронт научил, и два георгия в грудь не задарма влеплены. Вторая рота в голос порешила:

   — Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.

   То ли от страху, то ли от радости руки у меня дрожат — папироску сворачиваю, — однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:

   — Служил царю, послужу и псарю… Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.

   — Крой, Кужель.

   — В обиду не дадим.

   — Верой и правдой чтоб.

   Закрутил я ус кренделем и в комитет.

   На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь — стоп! Вытянешься — того гляди шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось, и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?» — а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.

   И смешно и дивно…

   Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.

   Дальше — больше, о доме разговоры пошли.

   — Скоро ли?

   — Да как?

   — Пора бы…

   — Сиди тут, как проклятый.

   — Покинуты, заброшены…

   — Защитники, скотинка бессловесная.

   Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет словцо:

   — Как там?

   — Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замиренье выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.

   — Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.

   — Помни долг службы.

   — Больно долог долг-то, конца ему не видать.

   — Много ждали, немного надо подождать.

   Тут у нас разговор глубже зарывался.

   — Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.

   — За богом молитва, за родиной служба не пропадет.

   — Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет. Довольно. Домой.

   Начальники свое:

   — Расея наша мать.

   Мы:

   — Домой.

   Они, знай, долдонят:

   — Геройство, лавры, долг…

   А мы:

   — Домой.

   Они:

   — Честь русского оружия.

   Мы в упор:

   — Хрен с ней, и с честью-то, — говорим, — домой, домой и домой!

   — Присягу давали?

   — Эх, крыть нам нечем, верно, давали… — И какая стерва выдумала эту самую присягу на нашу погибель?

   Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько остывать.

   С горя, с досады удумали с соседними частями связаться. Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрелковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, распояской гуляют, а которые, босиком и без фуражек.

   — Где у вас комитет, землячок?

   — Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.

   Вваливаемся в штаб.

   Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по локоть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем, стекло о кирпич точил.

   — Рассказывай, председатель, какие у вас дела?

   — Дела, — говорит, — маковые…

   И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока Серомах не выбрился. Оставшийся жеребиек стекла он завернул в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные скулы, поздоровался с нами за руки:

   — Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту… Гайда в землянку, чаем угощу.

   Чаек, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску, с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирал, в разведку ходючи, и председатель рассказывал нам, как они своего полкового командира за его паскудное изуверство перевели на кухню кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требованием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать, пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-собором и гайда по домам.

   — По домам так вместе, — говорим, — и мы тут зимовать не думаем.

   — Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.

   Провожал нас Серомах, опять шутил:

   — Жизня, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого…

   Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаючи.

   Живем и пятый и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.

   Выползешь вечером из землянки — лес, горы, колючка — убогий край… То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там — степь! Да такая степь — ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь…

   Сидишь так-то, пригорюнишься…

   С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:

   — Аллах вар… Аллах сахих… Аллах рахман, рахим… Ля илаха ил-ла-л-лаху… Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи…

   От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем.

   — Кардаш, домой хочется? — спросит русский.

   — Чох, истер чох! — Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.

   — Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора… *Наш* спрыгнул с трона, и вы *своего* толкайте.

   Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза защурят, а русский понимает — и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.

   — Яман офицер? Секим башка?

   — Уу, чакыр яман.

   — Собака юзбаши?

   — Копек юзбаши… Яман… Бизым карным хер вакыт адждыр.

   Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покрикивает:

   — Беговая… Рысистая… С поросенка!

   Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатили они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.

   Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:

   — Видишь?

   — Вижу.

   — Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка… Угадай, какой они породы?

   — Обе солдатской породы, — отвечает Осман на турецком языке. — Хэп сибир аскерлы…

   — Верно, — орет Макарка Сычев. — За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную крову лить?.. Не одна ли нас вошь ест, и не одну ли мы гложем корку хлеба?

   — Кардаш, чох яхши, чох! — закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?

   Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, задушевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо — ходу дай! Балалайки как хватят, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальню сторонушку…

   Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.

   Приходим.

   — Салям алейкум.

   — Сатраствуй, сатраствуй.

   Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.

   — Приятель, чего поймал? — спрашивает русский.

   — Блох.

   — Как блоху? Воша.

   — Блох.

   — Почему белый?

   — Маладой.

   — Почему не прыгает?

   — Глюпый.

   Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно — и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.

   — Яман дела?

   — Яман, яман…

   Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, пазы глиной и верблюжьими говяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут — в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках и чисто и сухо — полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, — этим терпеть можно, эти еще сто лет провоюют и не охнут.

   Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших уховертов умудрился — офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.

   Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы тащат.

   — Куда вы?

   — В штаб дивизии.

   — Чего там?

   — Бежи все до одного… Комиссия приехала.

   — Не насчет ли мира?

   — Все может быть.

   — А окопы, наша передовая линия?

   — Нехай Балкан караулит.

   До штаба дивизии восемь верст.

   Бежим, пятки горят.

   — Мир.

   — Домой.

   — Дай ты господи.

   Довалились, языки повысунувши.

   Народу набежало, народу…

   Полковые знамена и красные флаги вьются, оркестры играют «Марсельезу».

   — Кто приехал?

   — Штатская комиссия по выборам в учредилку.

   — Слава богу.

   — Потише, потише…

   Проскакал дивизионный, и полки замерли.

   Вот чего-то прогугнил батя, но нам слушать его неинтересно.

   Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться.

   — Граждане солдаты и дорогие братья… Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери Расеи!

   Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.

   Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает… Слушали его передние сотни, а задние — тысячи — по маханию рук старались догадаться, о чем он говорит.

   До нашей роты, хоть и не каждое слово, а долетало:

   — …Граждане солдаты… Геройское племя… Государственная дума… Защита прав человека… Углубление революции… Революция… Фронт… Революция… Тыл… Наши доблестные союзники… Старая дисциплина… Слуги старого строя… Сознательный солдат… Партия социалистов-революционеров… Свобода, равенство, братство… Своею собственной рукой… Еще один удар… Революция… Контрреволюция… Война до полной победы… Ура!

   Дивизию как бурей качнуло.

   — Ура!

   — А-а-а-а…

   — Аа-а-а-а-а-а…

   Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали; была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей — и об нас, мол, не забывают.

   В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.

   Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались…

   — «Война до победы», — говорю, — таковые слова для нас хуже отравы.

   Остап Дуда скрипнул зубами.

   — Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.

   — Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? — Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. — Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется…

   Кругом заговорили:

   — Правильно.

   — Неправильно.

   — Долой белогорликов.

   Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:

   — Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь не знамо что… Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление… Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги… Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах… Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извощиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом… Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули — курят сигары, тянут винцо и ля-ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, лля-ля, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля… Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!

   Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали — деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:

   — Монахов на фронт!

   — Фабрикантов на фронт!

   — Помещиков на фронт!

   — Полицейских на фронт!

   Кто-то кричит:

   — Куда девали царя Николашку?

   В суконной поддевке отвечает:

   — Мы его судить думаем.

   — Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.

   — Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков, — смеется фейерверкер Пимоненко, — мы их сами разорвем и до турок не допустим.

   — Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых…

   — Сказани… Мы их слушали, нехай нас послушают.

   Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно…

   — Господа депутаты, — звонко кричит Остап Дуда, — вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку — кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили… Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим — еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу… На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги… Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила… Поглядите, господа депутаты, — показал он кругом, — поглядите и запомните: эти горы и долы напоены нашей кровью… Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом — прибавить жалованья; третьим долгом — улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!» — а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать — о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехваток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут… Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда — держись, Расея… Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами, двинемся громить тылы… Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на копчик штыка!.. Чего я не так сказал — не обижайтесь, товарищи, наболело… Кончайте войну скорее и скорее!..

   Мы:

   — Ура, ура, ура…

   Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и — в автомобиль, и — дралала…

   А мы вдогонку ревем:

   — Ми-и-и-и-ир!

   Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.

   Живем, о мире ни гу-гу.

   Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не рассказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.

   Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили нас родные до сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать — и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охота поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.

   Так и жили, томились, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.

   Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое — Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я — и пошли в Трапезунд на разведку.

   Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыху — на митинг боялись опоздать. Напрасны были спасенья, митингов не переглядеть, не переслушать — и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.

   На митинге нам открылась секретная картина:

   — Бей буржуев, долой войну.

   Справедливые слова!

   Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.

   — Нечего, — говорю, — ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком и — прощай, Макар, ноги озябли.

   Товарищи меня держат.

   — Постой, Максим, погоди.

   — Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.

   — Будь по-вашему, — говорю.

   Заходим в духан, солдат полно.

   Кто кушает чай, кто — чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги — платят, а нет — покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай — ваксы купить, не знай — табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не дозволяет солдату быть благородным.

   Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.

   — Какая в России власть?

   — Нету в России власти.

   — Дума? Наше Временное правительство?

   — Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.

   — А Керенский?

   — Так его ж никто не слушает.

   Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.

   Один подвыпивший ефрейторишка шумит:

   — Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!

   Горячо говорил, курвин сын, а, насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.

   — Расея без власти сирота.

   — Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется…

   — Дивно.

   — Самое дивное еще впереди.

   — Где же та голова, что главнее всех голов?

   — Всякая голова сама себе главная.

   — А Учредительное собранье?

   — Крест на учредилку! — смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. — Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды…

   Бумагу — мандат — выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему провезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых — кругом ему льготы, кругом выгоды!

   Мандат — во! — полдня читать надо.

   — Где взял? — стали мы его допытывать.

   — Где взял, там нет.

   — Все-таки?

   — Угадайте.

   Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой и давай его тормошить: скажи да скажи.

   — За трешницу у ротного писаря купил.

   — Ну-у?

   — Святая икона, — сказал он и засмеялся… Да как, сукин сын, засмеялся… У нас ровно кошки вот тут заскребли.

   Выпадет же человеку счастье…

   Спрятал Иван Савостьянович мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.

   В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова — станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячей мы не важивали, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.

   — Здорово, Яков Федорович.

   — Здорово, служба.

   Обнялись, поцеловались.

   — Далече?

   — До дому.

   — Какими судьбами?

   — Клянусь богом, до дому, — говорит.

   — Приказ…

   — Я сам себе приказ.

   — Ври толще?

   — Верно говорю.

   — Как так?

   — Так.

   — Да как же оно так?

   — Этак, — смеется.

   Оружие фронтовое на нем, ковровые чувалы и домашнее — под серебром — чернью травленное седло на горбу.

   — Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных вареников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.

   — Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью заплыло, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.

   — Э-э, сядем да поедем… Все едут, все бегут… И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и — машинист, крути машину, станови на ход!

   Вижу, правильно — ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.

   Расступился в мыслях я — ехать или нет?.. Полчан маленько совестно — меня, как бытного, послали, а я убегу?.. И шпагат, признаться, жалко.

   — Нет, Яша, не рука.

   — Напрасно.

   — Мало ли чего… У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.

   — О том, кум, что было при царе Косаре, поминать нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово — зря.

   — Поклонись сторонушке родимой… Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов беремя. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строго-настрого, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.

   Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:

   — Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики…»

   — Ты научишь в обруч прыгать…

   — Говорю не шутя.

   — Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.

   — Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.

   Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:

   — Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..

   — Брехня.

   — Ой ли?

   — Собака и на владыку лает.

   — Что ж они такие за большевики?

   — Партия — долой войну, мир без никаких контрибуций. Подходящая для нас партия.

   — Так ли, кум?

   — Свято дело сватово.

   — Ты и сам большевик?

   — Эге.

   — Значит, домой?

   — Прямой путь, легкий ветер.

   Заныло сердце во мне…

   Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы… Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти… С твердостью говорю:

   — Нет, Яша, не рука. К рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьянее, гостевать приду.

   — Долга песня.

   Распили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:

   — Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал… Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты… Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скучает, тягостные слезы льет… А ты — горе, кручина, чужая сторона — торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак… Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой… Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок — книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опамятоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.

   — Хваты-браты.

   — И я то же говорю.

   — Ну и ну да луку мешок.

   Порт кишел солдатами, солдат в порту, как мошкары.

   На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли — пристанские мостки под ними провисали — всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.

   С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев — шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие совдепы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.

   Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.

   Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:

   — Расступись, вшивая команда, пропускай раненого. Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папахой мне помахал.

   — Прощай, Максим, ты все-таки подумай.

   — Думала баба над корытом…

   Рявкнул водоход, встряхнулся и поплыл — поплыл, как гусь белый.

   Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.

   А водоход дальше дальше и чу-у-у-уть слышно:

Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны…

   Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.

   Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиятов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.

   Пулеметчик Сабаров отбился от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.

   Слушать нас сбежался весь полк.

   Полчане стояли тесно — плечо в плечо и голова в голову.

   Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:

   — Фронтовики… Кровь родная… Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.

   Над целым полком стою.

   Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня… Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой… Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд — кого видали, чего слыхали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет…

   Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил.

   Кто кричит — правильно, кто — верно, а кто со злости только мычит.

   Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый захудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.

   Остап Дуда тоже остервенел: весь так и вызверился, подкатило человеку под само некуды… Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:

   — Расея… Шо це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии… Кончай войну! Бросай оружью!

   Солдатская глотка — жерло пушечье.

   Тыща глоток — тыща пушек.

   Из каждой глотки — вой и рев:

   — Окопались…

   — Хаба-ба…

   — Говори, еще говори.

   — Измучены, истерзаны…

   — Воюй, кому жить надоело.

   — Триста семь лет терпели.

   — Долой войну!

   — Бросай оружье!

   — Домой!

   Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались матюки, потом тише тише и замолчали.

   Оглянулся я.

   Оглянулся Остап Дуда.

   Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев — полковой наш командир… Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.

   Полк боялся Половцева за крутой характер — боек, его благородие, был на руку — и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок крушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.

   — Солдаты! — гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его. — Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?

   А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.

   Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волынку — слушать прискорбно — родина, пучина позора, всемирная борьба, харчи-марчи, чофа хата и так далее…

   Тяжело обвисли головушки солдатские…

   Он свое говорит, мы свое думаем… Кто в ширинке скребет, кто — за пазухой.

   Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальников кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую и молодечество, другое в башку полезло…

   Был у нас в роте, когда еще в тылу болтались, вятский парень Ваня Худоумов. Солдаты по дурости еще дразнили его: «Ванькё, спугни воробья-тё, сел на мачту, баржа-тё потонёт», — растяпистый да охалистый парень, беда. И под ружьем с полной выкладкой в семьдесят два фунта часами выстаивал; на хлеб, на воду его сажали; гусиным шагом гоняли; бою вынес бессчетно, а все не мог постигнуть немудрую солдатскую науку и часто забывал, какая нога у него правая, какая левая. «Ать, два, три!.. Ногу дай!.. Маши руками!» — такая игрушка, бывало, с утра до ночи. Кружились роты по казарменному двору, ровно ошалелые. Пурга засаривала глаза, мороз руки крючил, но разбираться с этим не приходилось. Хуже всего, когда ротный — тогда Половцев еще ротным был — бывал не в духе. На ком ему, его высокоблагородию, как не на солдате, злость сорвать? Бей ты его, терзай ты его, рук не отведет. Подлетит ротный к строю и давай кулаком в зубы бодрить: «Голову выше! Брюхо убери! Гляди веселей!» В такой недобрый час подбежал хищный зверь к Ваньке, а тот, как плохой солдат, всегда на левом фланге болтался. «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. Вылетела у того зеленая сопля и хлестнулась ротному на чищенный сапог. Бац в другое ухо: «Пшел с глаз долой, черт паршивый!» А вятский глядит сквозь офицера и тихонько так улыбается, будто во сне веревки вьет. Потом он упал, кровь из ушей поползла, уложили его на шинельку и унесли в больницу военную. Там он оглох на оба уха, поскомлел-поскомлел и опустился, бедняга, в черную могилу…

   Ваньку мне стало жалко, себя жалко, жалко всю нашу сиротскую мужичью жизнь… Родился — виноват, живешь — всех боишься, умрешь — опять виноват… Стою, дрожу, от злости меня аж вывертывает всего, а он, малина-командир, ухватил нас с Остапом за воротники и над повозкой приподнял.

   — Вот, — кричит, — ваши депутаты… Головы им поотвертывать за подрыв дисциплины… Дурак дурака чище, а, может быть, и немецкие шпионы.

   Качнулись посунулись задышали едуче…

   — Шпио-о-оны?

   — Во-о-о…

   — Ты, господин полковник, наших болячек не ковыряй… Плохие, да свои.

   — Хищный гад, ему бы старый режим.

   — Шпиёны, слышь?

   — Дай ему, Кужель, бам барарам по-лягушиному, впереверт его по-мартышиному, три кишки, погано очко!.. Дай ему, в нем золотой дух Николая Второго!..

   Задохнулось сердце во мне.

   С мясом содрал я с груди кресты свои, показал их полчанам и начальнику своему, навесившему на меня кресты мои.

   — Это что?

   Все кругом задрожало и застонало:

   — Дай ему!

   — Вдарь раза!

   Я:

   — Это что?

   Молчал Половцев.

   — Гляди хорошенько, командир ты наш, отец ты наш родной. Гляди, не мигай, а то я тебе эти полтинники вобью в зенки! — И на этих словах, не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам.

   Половцев падая зацепился шпорой и опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали — подняли на кулаки и понесли…

   Наболело, накипело…

   — Дай хоть раз ударить, — всяк ревет.

   Где ж там на всех хватить.

   Раздергали мы командировы ребра, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирало, сердце в каждом ходило волной, и кулак просил удара…

   Пошли ловить начальника хозяйственной части Зудиловича, прозванного солдатами за свой малый рост: «Два аршина с шапкой». Видит, он деваться некуда, и сам, уперев руки в боки, выходит из своей канцелярии на страшный суд-расправу. Уробел злец, ростом будто еще меньше стал, и глаза его, зеленые воры, так по сторонам и бегали…

   С самой весны питался полк голой турецкой водой и прелой чечевицей. Раньше боялись кормить такой чечевицей лошадей, шерсть от нее вылазит, а теперь кормили людей. Навалимся на котелок артелью — не зевай, только ложки свищут да за ушами пищит. Мнешь-мнешь, мнешь-мнешь, ровно барабан раздуется брюхо, жрать все равно хочется, а жрать нечего. С тоски пойдет какой бедолага, на ходу распоясываясь, присядет в ямку под кустом и давай думать про политику: «Служил, мол, ты, дурак, серая порция, царям, служил королям, служишь маленьким королятам, а ни один черт не догадается досыта тебя накормить…» Кряхтит-кряхтит, так ничего и не выдумает. Воюй, верно, не горюй и жрать не спрашивай.

   Стали мы пытать своего начальника, куда деваются несчастные крохи солдатские, кто хлебушком солдатским харчится, кто махорку солдатскую скуривает, кто попивает солдатский чаек внакладку?

   — Я тут ни при чем, — как на шиле вертится «Два аршина с шапкой», — доставка плохая, путь далекая.

   — Сказывай, щучий сын, кто кровушку нашу хлебает, кто печенкой нашей закусывает?

   — Опять же я не виноват, дивизионные воруют, а наряды посланы давно, не нынче-завтра транспорт ждем.

   — Отчего каша гнилая? Отчего в каше солома рубленая, горький камыш и всякая ерунда?

   — Каша вполне хорошая.

   — Гнилая.

   — Хорошая.

   — Гнилая! — кричим.

   — Отличная каша, — твердит свое Зудилович.

   Тогда принесли и поставили перед ним кукурузной каши бачок на шестерых. Дали большую ложку. Один шутник догадался, подмешал в кашу масла ружейного.

   — Ешь.

   Глядим, что будет.

   — Ешь и пачкайся.

   Припал наш начальник над котелком на корточки и принялся за кашу.

   Все молчали над ним и каждую ложку в рот глазами провожали…

   Ел он, ел, икнул и заплакал:

   — Больше не могу, господа.

   Мы его за усы.

   — Кушай.

   — Кушай, кормилец, досыта… Мы ее три года едим, не нахвалимся.

   Распоясался он, давай опять есть. Фельдшер с писарем заспорили, лопнет Зудилович или нет?

   — Согласно медицины должен лопнуть, — говорил фельдшер Бухтеяров: не только в нашем полку, но и далеко кругом славился он растравкой ран, по которым ухари получали краткосрочные и долгосрочные отпуска на родину.

   — Нет, не лопнет, — успорял писарь Корольков и рассказал, как у них в штабе ординарец Севрюгин на спор зараз десять фунтов колбасы да коровай хлеба смял и не охнул, покатался потраве, и вся недолга.

   — Ну, это ты, друг, врешь.

   — Я?.. Вру?..

   — Хотя бы и так, — говорит фельдшер, — то твой Севрюгин, а то образованный человек: в нем кишка тоньше, чуть ты ее понатужь, и готово.

   Поспорили они на полтинник.

   Давится «Два аршина с шапкой», но жует, а у нас уже и сердце отошло, краснословим, ржем — зубов не покрываем:

   — Скусно, поди, в охотку-то.

   — С верхом черпай.

   — Рой до дна.

   — Отгребайся, дядя, ложкой-то, отгребайся, до берегу недалеко.

   — Ложка у него титова…

   Выел начальник кашу и ложку облизал.

   — Хороша? — спрашиваем. — Еще не подложить ли?

   — Не каша — разлука, — отвечает он, обливаясь слезами.

   — Помни нашу науку.

   — Каюсь, братцы.

   Приняли его под руки и, обсыпая неприятными словами, на гауптвахту повели.

   Заодно думали и каптера Дуню постращать, да не нашли, унюхал и скрылся.

   Расходимся по землянкам.

   — В частях кругом пошло блужденье, — говорит разведчик Василий Бровко, — пора войне поломаться.

   — Пора, пора…

   — Надысь, слышь, Самурский полк снялся с позиции и самовольно в тыл ушел.

   — Астраханцы тоже поговаривали…

   — К зиме поди-ка ни одной русской ноги тут не останется.

   — Народ у нас недружный, у каждого глотка-то, как рукав пожарный, крику много, а делов на копейку… Держись мы дружнее, давно бы дома с бабами спали.

   — Твоим бы, Кузя, задом из досок гвозди дергать…

   — Разбежимся все, кто же будет фронт держать? — спросил кадровый солдат Зарубалов.

   — Аллах с ним, с фронтом.

   — А Расея?

   — Это не нашего ума дело… У Расеи жалельщики найдутся, мало ли их по тылам прячется…

   — Живут, твари, с полагоря.

   — Жалко, Кавказ пропадет, сколько тут наших могилок пораскидано…

   — Побитых не вернешь, а грузинцев с армянами жалеть нечего, пускай сами обороняются, коли им турки не милы.

   — Чего тут сидеть, мертвых караулить…

   — Выслать бы своих шпионов в Россию и узнать, кто там кричит: «Война без конца», — того бы за щетину да в окопы… Или половина остаемся и воюем один за двух, а половина с оружием идем по всему государству из края в край, колем и режем, стреляем и вешаем всех сверстников царизма и, разделив по совести землю и леса, фабрики и заводы, возвращаемся сюда на смену…

   — Кабы ты, Миша, заместо Керенского в креслах сидел да приказы писал, вот бы мы наворочали делов…

   Взводный Елисеев вспомнил Половцева и перекрестился.

   — Хороший был командир, царство ему небесное, вечный покой…

   — Всеони, псы, хороши, — говорю, — не знать бы их никогда…

   Мученый и маленький ефрейтор Точилкин боязливо оглянулся и сказал:

   — Удохать мы его удохали, а не вышло бы тут, братцы, какого рикошета?

   Когда убивали начальника, Точилкин в сторонку отбежал: крови видеть не мог после того, как однажды побывал в штыковой атаке.

   — За ними гляди да гляди.

   — Не поддадимся.

   — Чего ждем, скажи на милость?.. Давно бы их всех на солдатский котел перевести…

   — На котле далеко не уедешь, их благородиям надо на самый хвост наступить…

   В комитетскую палатку прибежал язычник, прапорщик Онуфриенко, и доложил про потайное собрание офицерское: крепко-де они за Половцева обижены, надумывают, как бы казаков на полк напустить, а сами-де уговариваются по тылам разъехаться и бросить полк на произвол судьбы.

   Солдат, он хитрый: там секреты и тут секреты, у них потайные разговоры, а у нас каждые сутки рота наготове.

   — Какая нынче дежурная? — спрашиваю члена комитета Семена Капырзина.

   — Двенадцатая дежурная, — отвечает Капырзин и, передернув затвор, посылает до места боевой патрон.

   Всполошились.

   — Не зевай, ребята.

   — Чего зевать, каждую минуту жизня смертью грозит.

   — Выходи, шуму лишнего не подавай.

   Бежим во вторую линию укреплений, и я громко подаю команду:

   — Двенадцатая, в ружье!

   Вылетают из своих нор солдаты двенадцатой роты: кто одет, кто бос и без шапки, но все с винтовками.

   Мы, комитетчики, вкратце объясняем, из-за чего поднята тревога, и рота, рассыпавшись цепью, скорым шагом направляется к лесу.

   Окружаем блиндированную землянку офицерского собрания. Заходим в землянку втроем.

   — Здравствуйте, господа офицеры! — смело говорю я и кладу руку в карман на бомбу.

   — Здорово, шкурники! — отвечает батальонный второго батальона штабс-капитан Игнатьев и, встав из-за стола, идет прямо на нас. — Мерзавцы! Как вы смели войти без разрешения дежурного офицера?

   И со всех сторон густо посыпались на нас обидные слова.

   Вижу, Остап Дуда сменился в лице и на батальонного грудью.

   — Нельзя ли выражаться полегче?.. Мы есть депутация… Пришли узнать, какой вы за пазухой камень держите?

   — Что-о тако-о-ое? — орет Игнатьев, глаза выпуча. — Ах вы, каторжные лбы!

   Не помню, как шагнул вперед и я.

   — Знай край да не падай, ваше не перелезу! Довольно измываться над нашим братом! Довольно из нас жилы тянуть!

   — За нас двенадцатая рота! — с провизгом закричал из-за меня и Капырзин. — За нас полк, за нас вся масса солдатской волны, казаками нас не застращаете, это вам не старый режим…

   — Ма-а-а-алчать… Предатели… Родина… Измена! — Батальонный выхватил наган. — Я не могу… Я застрелюсь! — и поднял наган к виску.

   — Валяй… Один пропадешь, а нас — множество — останется, — говорит Капырзин.

   Раздумал. Опустил руку с наганом и говорит тихим голосом:

   — Сукины дети вы.

   Офицеры окружили его, отжали в угол и принялись успокаивать.

   — Господа депутаты, — обратился тогда к нам молодой и чистый, как утюгом разглаженный, адъютант Ермолов, — господа, по-моему, тут недоразумение… Камня за пазухой мы не держим, и никаких особых секретов у нас нет… Просто, как родная семья, собрались чайку попить и побалагурить… Верьте слову, политикой мы никогда не интересовались… Мы не против и Временного правительства, не против и революции, но… — он оглянулся на своих, — но…

   — Мы не допустим, — выкрикнул Игнатьев, — чтоб какая-то сволочь грязнила честь полкового знамени, под которым когда-то сам Суворов водил наш полк в атаку на Измаил и Рымник. Наше знамя… — и пошел и пошел про заслуги полка высказывать.

   Насилу его уняли.

   К нам опять подлез тот адъютантишка и зашептал:

   — Вы на него не сердитесь, господа. Чудеснейшей души человек. Но… но… на язык не воздержан… Революция, это знаете такое…

   — Мы и без вас, господин поручик, знаем, что такое революция, — говорит Капырзин. — Расскажите нам лучше, как вы солдата на фронте удерживаете, а сами сговариваетесь дезертировать?

   — Ложь, чепуха, хреновина… Больше доверия своему непосредственному начальнику. Солдат ничего не должен слушать со стороны, от какого-нибудь проходимца-агитатора… Все новости должен узнавать через начальника… И со всеми обидами иди к начальнику… Не с первого ли дня войны мы находимся вместе с вами на позиции?

   — Вы не сидите, — говорит Остап Дуда, — не сидите в окопах… в воде. — Вы — сухие и чистые — на стульях спите…

   — Не вместе ли мы честно служили, и не должны ли мы на этих позициях честно и вместе умереть? За родину, за свободу, за…

   — Нам, — говорю, — умирать не хочется. Славу богу, до революции дожили и умирать не желаем.

   — Будя, поумирали, — ввязался и Капырзин. — Три года со смертью лбами пырялись, надоело… Нам чтоб без обману, без аннексий и контрибуций.

   — Ба, большевицкие речи?

   — Нам все равно, чьи речи. Нам ко дворам как бы поскорее, а вы, господа офицеры, нас вяжете по рукам и ногам. Три года…

   — Три года! — опять выскочил из своего угла батальонный Игнатьев. — А я служу пят-над-цать лет… Нет ни семьи, ни дома… Все мое богатство — сменка белья да казенная шинель… Теперь вам то, вам се, а нам, старым командирам, шиш костью?.. Вам свобода, а нам самосуды?… Хамы, сукины дети! Не радуйтесь и не веселитесь — дисциплина нового правительства будет еще тверже, и вы, мерзавцы, еще придете и поклонитесь нам в ноги!..

   — Пойдем, — сунул меня локтем под бок Остап Дуда, — тут разговоров на всю ночь хватит, а там рота под дождем мокнет…

   Повертываемся и выходим.

   Рота обступила нас.

   — Ну, чем вас там угощали, чем потчевали?

   — Мы их испугались, — смеется Капырзин, — а они нас. Потявкали друг на друга, да и в стороны.

   — Жалко, драки не вышло. Не мешало бы для острастки одному-другому благородию шкуру подпороть.

   — Кусаться с ними так и так не миновать.

   — Пока вы там гуторили, мы по лесу всю телефонную снасть пообрывали.

   — Ну, ребята, держи ухо востро. Пулеметчикам находиться неотлучно на своих местах. К батарее выставить караул. На дороги выслать заставы. Всем быть готовыми на случай тревоги.

   Утром полк был собран на митинг.

   Долго судили-рядили. В конце концов было решено батальонного Игнатьева арестовать, а к казакам и в 132-й Стрелковый срочно слать своих делегатов. Арестовать себя батальонный не позволил — застрелился, делегаты были посланы.

   Не успели мы разойтись, скачет из штаба дивизии ординарец с распоряжением немедленно везти урну с солдатскими голосами в Тифлис, где квартировал общеармейский комитет турецкого фронта.

   — Максима Кужеля слать!

   — Пимоненко!

   — Трофимова!

   Каждому из нас хотелось в тыл — вольную жизнь посмотреть, да и к дому поближе.

   Артиллерист Палозеров сказал за всех:

   — Нечего нам, братцы, горло драть без толку. Человек тут требуется надежный. Может, через них, через листки-то, какое освобождение выйдет. Благословясь, пошлем-ка кого-нибудь из наших комитетчиков. Верней того ничего не выдумать.

   Слову его вняли.

   Перед целым полком тащили мы жеребья.

   Один тащит — мимо, другой — мимо, третий — мимо.

   Пало счастье на меня — вытащил пятак с зазубриной — и заиграло во мне!

   Сгреб я барахлишко, посовал всякую хурду-мурду в один мешок, голоса солдатские — в другой и сажусь на арбу.

   — Прощевай, земляки.

   — Счастливо.

   — Возвертайся поскорее.

   — Чего он тут забыл?.. Сдай, Кужель, голоса, отпиши нам про тыловые порядки и валяй на Кубань, а следом и мы прикатим.

   Кто целоваться лезет, кто на дорогу мне табачку отсыпает, кто сует письмо на родину.

   Разобрал ездовой вожжи, гаркнул, и подпряженные парой кони взяли.

   С перевала оглянулся я последний раз…

   Далеко внизу чернели окопы, виднелись землянки, пулеметные гнезда, батарея в лесочке, и вся широкая долина была насыпана солдатами, как горсть махоркой.

   — Прощай, лешая сторонка.

   Три года не плакал — все молился да матерился, — а тут прорвало…

**Пожар горит-разгорается**

   *В России революция,*

   *вся Россия на ножах.*

   Горы, леса, битые дороги…

   По хоженым дорогам, по козьим тропам несло солдат, будто мусор весенними ручьями.

   Солдаты тучами облегали станции и полустанки. По ночам до неба взлетало зарево костров. Все рвались на посадку, посадки не было.

   Поезда катили на север, гремя песнями, уханьем, свистом…

   Дребезжащие теплушки были насыпаны людями под завязку, как мешки зерном.

   — Земляки, посади!

   — Некуда.

   — Надо ехать, али нет?.. Две недели ждем.

   — Езжайте, мы вас не держим.

   — Как-нибудь…

   — Полно.

   — Товарищи!

   — Полно.

   — Туркестанского полка…

   — Куда прешь?.. Афоня, сунь ему горячую головешку в бороду.

   — Депутат, голоса везу, — охрипло кричал Максим и, как икону, поднимал перед собой урну с солдатскими голосами. Его никто не слушал. Стоны, вопли, крики… В клубах дыма и пыли летели поезда. Обгоняя колеса, катились тысячи сердец и стуко-тук-тук-тукотали:

   …до-мой…

   …до-мой…

   …до-мой…

   Максим вывязал из мешка последнюю краюху черного и тяжелого, как земля, хлеба и принялся махать краюхой перед бегущими мимо вагонами.

   — Е! Ей!

   Рябой казачина на лету подхватил краюху, Максимовы мешки и самого Максима через окно в вагон втащил.

   — Поехали с орехами!

   Тесновато, но ехать можно.

   — Закрой дверь, холодно, — рычит один из-под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена давно, окна в вагонах побиты.

   — Терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.

   Лобастый, свеся с верхней полки стриженную ступеньками голову и поблескивая озорными глазами, с захлебом рассказывал сказку про Распутина:

   — …Заходит Гришка к царице в блудуар, снимает плисовы штаны и давай дрова рубить!

   Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья — кто был, тот знает.

   — Это что! — лезет из-под лавки тот, который рычал: «Закрой дверь, холодно». — Вот я вам расскажу сказку, так это сказка…

   Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата: сколько им было простаков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено…

   В том же вагоне ехал избитый в один синяк и ограбленный солдатами старый полковник. Босые, опутанные бечевками ноги его болтались в заляпанных грязью валяных обрезках; плечи прикрывал драный, казенного образца, полушубок. В измятый медный котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Из-под фуражки в красном околыше выбивались пряди седых свалявшихся волос. Спал он, как и все, стоя или сидя на полу — лечь было негде. Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают…

   — Лезь, — кричат, — в окошко, как мы лазим. Максиму жалко стало старика, подвинулся немного и пригласил его присесть на лавку.

   — На добром слове спасибо, братец. Недостоин я, это самое, с солдатиками в ряд сидеть… За выслугу лет, это самое, в чистую вышел… — и не сел, а у самого дробные слезы так и катятся по щетинистой щеке.

   Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в старика:

   — Глот. Давно подыхать пора, чужой век живешь.

   — Вишь, морду-то растворожили…

   — Может быть, из озорства ему накидали?

   — Зря бить не будут, бьют за дело.

   — Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду… Мы походили пешком, пускай они походят

   — Брось, ребята, — вступился Максим, — чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает… Всем ехать охота.

   — Правильно, — поддержал лобастый сказочник с верхней полки, — перед кем он провинился, тот ему и наклал, а наше дело сторона… Из них тоже которые до нашего брата понятие имели…

   Ехал тот полковник к дочери в станицу Цимлянскую, на тихий Дон. До самого Тифлиса Максим подкармливал его и на прощанье чулки шерстяные подарил.

   — На, носи.

   На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли.

   С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало — ехали на стойках, верхом на паровозе. Под составами визжали немазаные колеса, прогибались рельсы.

   — Садись на буфер, держись за блин!

   Под Тифлисом затор.

   Разъезд забит эшелонами.

   Голодные солдаты уже по двое, по трое суток сидели по вагонам и матюшили буржуазию, революцию, контрреволюцию и весь белый свет; иные — с вещевыми мешками, узлами, сундучками — отхватывали по шпалам, держа направление к городу; однако большинство из этих торопыг, напуганные чудовищными слухами, с дороги возвращались, сбивались у головного эшелона в кучки, митинговали.

   В каждой кучке свой говорух, и каждый говорух, закусив удила, нес и нес, чего на ум взбредет. Один уговаривал слать к грузинскому правительству мирную делегацию; другой советовал сперва обстрелять город ураганным артиллерийским огнем и уже тогда посылать делегацию; а изрядно подвыпивший казачий вахмистр, навивая на кулак пышный, будто лисий хвост, ус свой, утробным басом гукал:

   — Солдатики-братики, послухайте меня старого да бывалого… Ни яких делегаций не треба… Нечего нам с тими азиятцами устраивать сучью свадьбу… Хай на них трясца нападет!.. Хан оны вси передохнут!.. Пропустите меня с казаками вперед! Як огненной метлой прочищу дорогу и к чертовому батьке повырублю всих новых правителей, начиная с Тифлиса и кончая станицей Кагальницкой, откуда я сам родом… Так-то, солдатики-братики… — Приметив на лицах некоторых слушателей лукавые улыбки, кои показались ему оскорбительными, вахмистр насупился, откинул на плечо ус и, хватив себя кулаком в грудь так, что кресты и медали перезвякнули, заговорил еще с большим жаром: — Вы, скалозубы, що тамо щеритесь, як тот попов пес на горячую похлебку? Циц, бисовы души! Я вам ни який-нибудь брехунец-вертихвост… Я в шестом году, находясь на действительной службе, сам партийным был. Командир наш, хорунжий Тарануха, добрый был казак, царство небесное, за один присест целого барана съедал, — выстроил нашу сотню на плацу и говорит: «Станишники, лихое настало время на Руси, скрозь жиды и студенты бунтуют… Скоро и наш полк погонят в ту проклятую Одессу на усмирение… Помня присягу и нашу православную веру, должны мы всей сотней записаться в партию, чи союз Михаила архангела». — «Рады стараться, отвечаем, нам все едино…» — И, похоже, долго бы еще ораторствовал речистый вахмистр, но вот через толпу протискались два казака и, сказав с укором: «Будет вам, Семен Никитович, всю дурь-то сразу выказывать, приберегите что-нибудь и на завтра», — подцепили его под руки и увели в свой эшелон.

   На обсохшем пригорке играли в орлянку, высоко запуская насветленные медные пятаки. Двое затеяли русско-французскую борьбу, собрав вокруг себя множество зрителей, из которых чуть ли не каждый подавал свой совет тому или иному из борющихся. Несколько человек сидели и полулежали в вольных позах вокруг раскинутой шинели и резались в очко. Уже побывавший и в Тифлисе и в Баку старшой какой-то конвойной команды — лихого вида фельдфебелек — метал банк и бойко рассказывал:

   — Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле… Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну — разлюли малина!

   — Какой они партии? За что борются? — отрывисто спросил рыжий, страшной худобы солдат.

   — Кто? Грузинцы?.. Партий всяких у них, брат, развелось больше, чем блох в собаке. И все друг друга опровергают, и все друг друга не признают, и кто у них за что борется, кто прав, кто виноват — сам архирей не разберет… Видал я одного ихнего министра в городском саду на митинге — ну, ничего, одет чисто, при часах и с тросточкой. Речь его я понять не мог, говорил он не по-русски, а по-своему. Газеты тифлисские читал, тоже доподлинно не вызнал что к чему, а так, на базаре, от одного прапорщика слыхал: «Грузия-де к меньшевикам приклоняется, всю власть им перепоручила, а меньшевики-де раньше были у большевиков в подчинении, как апостолы у Христа; а ныне будто бы те апостолы рассвирепели, не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут…» Тюрьмы тифлисские набиты внабой.

   — Азият он азият и есть, — вздохнул один из игроков, — ему кровь заместо лимонаду.

   — Шустры они, бойки, — продолжал фельдфебель повествовать о меньшевиках, — но, как зайцы, всех боятся: рабочих боятся, солдат боятся, генералов русских боятся, турок боятся, а пуще всего большевиков боятся…

   — Этим правителям хрен цена. Эти правители временны, до первого морозу, — опять сказал рыжий солдат своим глухим, замогильным голосом, выбирая рублевку из зажатой в кулак пучаги мятых денег. — Дай карту. Дай еще, — с трепетом, медленно он поднял последнюю карту и, точно обжегшись, отдернул руку. — Перебор. Служил у нас в Кимрах, годов сорок кряду служил становой пристав Мамаев. Вот это был правитель! Трезвый по деревне скачет, и то ни один пес — на что тварь беспонятная — на него гавкнуть не смел. Ну, а как напьется, никто на глаза не попадайся, разорвет! Мужики заслышат бубенцы — Мамай скачет— врассыпную: кто под избу забьется, кто на гумнах в солому зароется, кто куда. У него уж, бывало, пока обедня не отойдет или вечерня не кончится, пьяным на улицу не покажешься и в гармошку не сыграешь… Форменный был разбойник, трава перед ним от страху вяла, да и то, еще месяца за три до революции, попал мужикам на вилы. А сколько их, таких Мамаев, было у царя? Где они? Всех варом, как тараканов, поварило. Ныне народ отчаялся и облютел, никакого правителя к себе на шею не допустит.

   Некоторое время все молчали, с интересом, следя за ходом игры, потом разговор возобновился.

   — И хорошо в гостях, а надоело, — задумчиво сказал наблюдавший за игрою со стороны Максим. — Добры люди поди-ка плуг и борону ладят, а мы как неприкаянные бродим и бродим по чужой стороне. Не горько ль?

   — Не понимаю, какого дьявола тут сидим! — воскликнул уже неоднократно пытавшийся ввязаться в разговор мальчишка с нашивками вольноопределяющегося и с новеньким Георгием на груди; на свой знак отличия юный герой то и дело озабоченно посматривал, точно желая убедиться: не потерял ли? — Немцев били, турок били, а этих каналий в два счета расщепать можно. По-моему, если развернуть как следует боевой полк, обеспечить фланги достаточным количеством пулеметов, придать каждой роте…

   Грянувший хохот старых солдат так смутил мальца, что он поперхнулся собственным словом, закашлялся до слез и умолк.

   — Прыткий! — подмигнул фельдфебель. — Сунься, они тебе покажут, почем сотня гребешков.

   — А что?

   — А то. Ты еще мал, круп не драл. — Банкомет с значительным видом поиграл косматой бровью и, снова раскинув донельзя затрепанные карты, продолжал повествовать: — Под национальные знамена грузинцы собирают свою армию, армяне — свою, татары — свою. В оружии у них, дело известное, недохваток. И вот, меньшевицкие правители выкатили в Гянжинский район свой бронепоезд на разоружение эшелонов. Разоружить они мало кого разоружили, но на станции Шамхор — врасплох — посекли из пулеметов много нашего брата. Мать честная, что там делалось! Раненых как саранчи, побитых два дня на кладбище возили. На грех, какой-то лазарет с тяжелыми эвакуировался, так эти бедолаги сгорели все до единого в своих вагонах. Ну, дело известное, солдаты остервенели. Поймают где грузинца, татара или армяна, тут ему ишаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой за шею и на телеграммный столб вздернут, на ноги еще камней понавешают — мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера, я тому сам свидетель, к забору штыками пришили, другого в нефтяном баке утопили…

   Наслушался Максим тех речей — голова кругом пошла. С тяжелым сердцем он вернулся в свой наполовину опустевший вагон и завалился спать.

   Разбудил его топот многих ног, дурные крики, в залепленные сном глаза ударил резкий свет замелькавших за окном вагона колючих электрических фонарей — эшелон, мотаясь на стрелках и позвякивая буферами, подходил к Тифлису. Перемигнули сигнальные огни, проплыли какие-то постройки и тополя, уходящие темными вершинами своими под самое звездное небо. Эшелон, миновав вокзал, покатил куда-то в темень, на запасные пути. Солдаты прыгали из вагона на ходу. Прихватив свои мешки, спрыгнул и Максим.

   В вокзале он разыскал этапного коменданта в погонах подполковника, который сидел в кабинете один и, точно в бреду, наборматывал что-то сам себе.

   — Тебе чего? Какого полка? Почему без пояса? — вперил он в Максима блуждающие безумные глаза кокаиниста.

   Максим подал дорожный аттестат и мандат. Тот мельком просмотрел бумаги и швырнул их делегату.

   — Нет у меня хлеба, нет махорки, нет сахару, убирайся к черту!.. — На короткую минутку он умолк и потом снова залопотал, забормотал, с ужасом глядя куда-то мимо Максима в угол: — Законность, порядок, идеалы, все проваливается в пропасть, все летит в тартарары… Ах, Ниночка, Ниночка, как ты меня огорчила, как огорчила!.. Тебе чего, солдат? Какого полка? Что за дурак у вас командир? Почему не по форме одет? Ах да… Так вот, голубчик, общеармейский комитет турецкого фронта переведен в Екатеринодар. Туда и езжай со своими голосами, хотя это и бесполезно… Эти мерзавцы уже разогнали Учредительное собрание, разгромили колыбель России — московский Кремль. Все пропало, страна гибнет, гибнет культура… Ты, скот, того понять не можешь… Кубанец? Рад небось, каналья? Сейчас отправляю с пятого пути эшелон. Получай пачку папирос и езжай к чертовой матери. Все рушится… Господи… Вековые устои… Горе, горе россиянам… *Гайда да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом*, — пропел он и, закрыв лицо руками, зарыдал.

   «Нализался», — подумал Максим и вышел.

   На станции не было ни питательного пункта, ни хлебных лавок. Голодные, рыча и стеная, бродили солдаты. Весь привокзальный район был оцеплен полком грузинской народной армии: в город фронтовиков не пускали — погромов боялись — и пачками толкали дальше, на Баку. Составы то и дело — один за одним, один за одним — уходили на восток.

   — Эх, — тяжко выдохнул какой-то ефрейтор, стоя в распахнутых дверях теплушки и грозя винтовкой уплывающему из глаз городу, откуда, несмотря на раннее утро, все еще доносились всхлипывания оркестров, — на фронт провожали с цветами, а встречаете лопухами? Куска хлеба жалко?.. Ну погоди, кацо, не попадешься ли где в тесном месте?

   — Не серчай, земляк, печенка лопнет, — хлопнул его Максим по плечу. — Меньшевиков узнали, хороша партия, дай ей бог здоровья. Дальше поедем, может статься, еще чище узнаем.

   — Да уж больно обидно… В газетах пишут: «Равенство, братство», — а сами норовят хватить тебя под самый дых и хлеба не дают ни крошки.

   — Ладно, — опять сказал Максим, — и нам какой кудрявый под лапу попадется, пускай пощады не просит.

   — Спуску не дадим.

   — Главное, ребята, с винтовкой не расставайся, — отозвался еще один из-под нар. — До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна.

   За Тифлисом началась война.

   Горцы большими и малыми отрядами нападали на эшелоны — под счастье, — грабили их и спускали под откосы.

   На путях голодали люди, дохли лошади.

   Поезда тянулись сплошной лентой, в затылок друг за дружкой. По ночам на поездах ни огня, ни голосу. Выставив дозоры и заставы, отстаивались в полной боевой готовности. Ехали одиночками, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, сметая с пути банды, двигались отдельные части 4-го и 5-го стрелковых корпусов.

   Акстафа, Гянджа, Евлах — на каждой станции перестрелка, суматоха, тарарам. Горела станция Елисаветполь, горела Кюракчайская керосинопроводная станция. По всей линии горели мелкие станции. Железнодорожные служащие, путевая стража и. ремонтные рабочие с семьями, скарбом бежали в сторону Баку. Горели покинутые дома, будки и рабочие казармы. Горели татарские аулы и села русских сектантов. На подступах к горной Армении гремели пушки. На рубежах Грузии, Дагестана и Азербайджана гремели пушки. Воплями, стоном и дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.

   Булга.

   Все подъездные пути по самые выходные стрелки были уже забиты поездами, а со стороны Тифлиса накатывались все новые и новые, и уже некуда им было становиться; они останавливались за семафором, в чистом поле, откуда к станции гуськом тянулись делегаты, крупно разговаривая:

   — Кто нас держит?

   — Из паровозов, слышь, весь дух вышел — не берут.

   — Всех белогорликов убивать надо.

   Вокруг станции и на путях, прямо по земле и по дикому камню были разметаны ноги в разбитых сапогах, лаптях, отопках, истрескавшиеся от грязи руки, лохмотья, крашеные ободранные сундучки, мешки, на мешках и сундучках всклокоченные головы, лица, истомленные, мученые, и рожи, запухшие то ли от длительной бессонницы, то ли с большого пересыпу.

   Совсем недалеко, в горах, регулярный казачий полк дрался с татарами, кои то отступали на линию своих аулов, то сами — с гиком, визгом — кидались в атаку, стремясь прорваться за перевал, на соединение с другим отрядом. Эхо ружейных залпов перекатывалось в горах. Тишину нежного утра громили пушки. По хорошо слышным разрывам фронтовики определяли калибр:

   — Трехдюймовка…

   — Тоже…

   — Чу, горняшка… Должно, ихняя.

   — У них орудиев нет.

   — А ты алхитектор? Проверял, чего-у них есть, чего нет?

   — Ого, жаба квакнула. (Бомбомет.)

   — Да, эта по затылку щелкнет, пожалуй, на ногах не устоишь. За семафором шальной снаряд ззз бум!

   разбрызгал грязь и панику.

   Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и — наутек.

   — Бьют, курвы!

   — Обошли!

   — Ссыпайся!

   — Ганька, канай! Ганька, где мой мешок?

   — Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут.

   — Как же, по головке погладят.

   — Ух, батюшки, задохнулся… Этак, не доживя сроку, умрешь.

   — Делегацию бы послать на братанье, как на фронте. Так и так, мол, товарищи…

   — Сымай штаны, ложись спать… Они те набратают, вольного света не взвидишь. Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.

   В дверях разграбленного складочного сарая, на новеньких рогожках, рядком лежали прикрытые шинелями два зарезанные пехотинца Гунибского полка. Из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги — пятки вместе, носки врозь. Вчера оба были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нынче их нашли в канаве под насыпью. Вот подошли несколько гунибчан, — один с высветленной лопатой на плече, — перекинулись коротким словом и прямо на рогожках потащили резаных в недалекую ложбинку, где земля была мягче. Там они наскоро закопают обоих в одну яму, потом разбредутся по вагонам и укатят. Будут лить дожди, шуметь травы, гореть тихие зори, но уже никогда ни одна близкая душа не придет поплакать, постонать на затерянную в степи солдатскую могилу…

   Под ветром плескались костры.

   Жарко пылали смоляные плахи шпал, расколки каких-то досок, хорошо горела и вагонная обшивка, закипая по ребрам краской. К огню со всех сторон лепились котелки, в котелках пучилась мамалыга и кукуруза.

   Чернобородый большой солдат вытащил из мешка пеструю курицу, которая ни разу и кудахнуть не успела, как он — хрупнув — откусил ей голову и, прислушиваясь к редким орудийным выстрелам, вздохнул:

   — Палят и палят… Господи, твоя воля… И чего проклятым дома не сидится? И чего псам гололобым надо?

   — Это нам, землячок, война надоела, а им в охотку.

   Пыл лизал наколотую на сизый штык курицу. Обглоданный болезнью паренек зябко кутался в шинель, глубоко засовывая рукав в рукав, мигал воспаленными загноившимися глазами и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черным:

   — Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо… А курочка-то пригорает.

   — Не бойся, не пригорит… Бежать…

   — Бежать, бежать, Сила Нуфрич, тут хорошего не жди… А курочка-то того, ты поглядывай.

   — Будь татары одни, — сказал закутанный в смрадное рубище ополченец, — мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота!

   — Да што ты?

   — Верно слово.

   — Как же оно так?

   — А вот как… Вчера за Курой поймали наши разведчики двух азиятов и с ними офицеришку русского. Ладно. Привели на станцию. Тут и давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. Ладно. С татарина много не спросишь, — бэльмэ, бэльмэ, — рукавами себя по ляжкам хмыщут, языками чмокают: «Была барашка мыного, была лошадка мыного, была маладой жена мыного. Война пришел — барашка ушел. Свобода пришел — лошадка ушел. Бальшавой пришел, кричит: „Буржу, буржу!“ — последки отбирал, с жена чадра снимал. Барашка ёк, лошадка ёк, ёканда маладой жена. Ай-яй-яй, урус, сапсем палхой порядка пошел!» Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, ну а к офицеру подступили покруче. Ладно. «Какой партии?» — спрашиваем его. Отвечает: «Беспартийный». — «Врешь, так твою и этак, — говорит один из комитетских, — беспартийные, как тараканы, должны на печке сидеть, а не между татарами шиться». Ладно. Спросили его, какой он части, давно ли с позиции. Молчит. Еще чего-то спросили. Молчит. Тогда комитетский развертывается и бяк его благородие по рылу, бяк еще, он и заговорил: Расея, союзники, то да се, хотим, мол, приостановить ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на фронт.

   — Чисто.

   — Черепки у них варят… Там били нас и тут бьют, там путали и тут путают.

   Курица была готова. Чернобородый отломил горелое крылышко, лизнул было его сам, но обжегся и бросил парню.

   — На-ка, Федюнька, займись от скуки.

   В вокзальном садике три толпы. В одной — играли в орлянку, в другой — убивали начальника станции и в третьей, самой большой толпе, китайчонок показывал фокусы:

   — Шинд'ла, минд'ла… О, мотлия, шалика лука ложия… Ас! Дуа! П'хо! Пой'егла!.. Куа шалика пой'егла? Ни сная, спласи ната. — Перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пошептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал: — Аа, сная, куа шалика пон'егла! Маа бох доблы!

   Говор восхищенных зрителей:

   — Ах, бес… Ну, и бес.

   — Заноза мальчонок.

   — Да-а… Наш русский давно бы в куски пошел, а этот — уйди вырвусь!

   Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили, будто еще дышит.

   По перрону похаживала веселая компания подвыпивших терцев: балагурили, ржали, от души потешаясь над своими же проказами. Один, самый молодой и дурной, отвернув голову на сторону до отказу и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал несусветную похабщину; другой не раз пробовал затянуть терскую песню, да все голос срывался; еще двое состязались, кто выше плюнет, — они уже захаркали весь фасад вокзала, но спор все еще не был решен. Проходил по перрону и денщик командира сотни, Фока, на вид будто и придурковатый малый, однако плут великий и пройда, каких свет не видывал. Он шел, и все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить сметаны, полнехонькое блюдо которой он нес в вытянутых руках. Гуляки окружили его и засыпали вопросами: «Куда ходил? Где молока надоил? Э, да это сметана! — воскликнул один из них, макнув в блюдо палец и обсосав его. — Ах, скусно… Почем брал? Расскажи, Фока, как ты в Эривани татарку в бане мылил?» И еще один макнул в сметану уже не палец, а всю пятерню, а тот, у которого в песне глотку перехватывало, бросил в сметану окурок, что вызвало у всей компании бешеный хохот. Фока поставил блюдо себе под ноги и, прикрыв его полою шинели, взмолился:

   — Станишники…

   Но станичники наседали. Один уже нахлобучил ему шапку на нос, другой тянул из-под него блюдо со сметаною, а, тот, что играл на пустом котелке ложкою, тормошил:

   — Фока, Фока, а ну-ка соври что-нибудь не думаючи…

   — Некогда мне с тобой, дураком, и язык чесать. Провались! — зарычал рассвирепевший Фока. — Вам все смешки да хахоньки, а там харч, там… эх, чего с вами и говорить.

   — Где харч? Какой харч? — спросили в голос оба спорщика, бороды коих были заплеваны.

   Фока воровато метнул глазом туда-сюда и зашептал:

   — Крой, ребята, бога нет… В телеграфе, вон крайняя дверь с гирькой, сейчас начнут трофейную обмундировку раздавать… Полторы тысячи комплектов, сам видал… В случае… ежели… и мою очередь займите…

   Станичники переглянулись, перемигнулись и, оставив в покое Фоку с его сметаною, хлынули к двери, за которой действительно было заметно какое-то оживление.

   В телеграфе фронтовики штурмовали телеграфиста, требуя от него паровозов, а сзади в дверь напирали терцы, кубанцы и так праздношатающиеся, тоже уже прослышавшие каким-то макаром про трофейную обмундировку.

   — Братцы… Тут раздают?

   — Становись в затылок.

   — Мундировка?

   — Ну? Семка, нашинских покличь!

   — Легче напирай.

   — Где мундировку дают?

   — В очередь, в очередь! Все равны!

   — Куды, черт, лезешь?

   — Не больно черти, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками… Я, брат, такой… Не погляжу и на лычки твои.

   — Что тебе мои лычки поперек горла встали?

   — Положил я на них.

   — Тише, тише…

   — Мундировка?

   — Не-е-е, — разочарованно тянет тот, у которого в песне голос осекался, — тут насчет паровозов…

   Очередь, вставшая за обмундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.

   — Ну и пес наш Фока, — отирая шапкой пот с лица, восхищенно сказал один из терцев. — Теперь уж поди-ка и Якова Лукича варениками удовольствовал и сам около него сметанки полизал. Вот тебе и «соври-ка что-нибудь не думаючи».

   Прижатый к стене телеграфист бормотал точно спьяну или спросонья какие-то жалкие слова… Перед его расплавленными от ужаса глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие обезумевшие лица и широко распяленные орущие рты… Лапа вожака уже тянулась к горлу телеграфиста.

   — Сказывай, сказывай останный раз, будут паровозы, ай нет?

   — С мясом выдерем!

   — Нам так и так ехать.

   — Хомут на белу душу!

   Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея, дрожали побелевшие губы.

   — Товарищи… Милые… Господи… Я сам за новый режим… Даже боролся, имею соответствующие документы… Паровозы не от меня зависят.

   Ударили голоса:

   — Каля-каля, пополам да надвое!

   — Глаза нам не отводи!

   — Вынь да выложь паровозы!

   — Смерти али живота?

   — Должен ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?

   — Празднички, гуляночки?

   — Все буржуям продались!

   — Пятый день вторую версту едем… Шутки плохие.

   — Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы предоставит…

   — Братцы… Даю честное, благородное…

   Злобой коптил солдатский глаз. Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с его форменной тужурки.

   — Говори, не дашь паровозов?

   — Братцы…

   — Бей, сучья жила, телеграмму в Баку!.. Вызывай по аппарату Мурзе паровозы из Баки.

   Будь на месте телеграфиста терец Фока, с величайшей готовностью кинулся бы он к аппарату *Мурзе*, и несмотря на то, что по линии все провода были давно уже порваны, изо всех сил принялся бы он трясти тот аппарат и повертывать его во все стороны; потом, сообразив, бросился бы он к давно недействующему телефону и — надувая щеки, свирепо тараща глаза — принялся бы он ругать бакинских начальников самыми последними словами и требовать, чтоб немедленно были высланы в его распоряжение сорок тысяч паровозов. Обнадеженные фронтовики угостили бы его махоркой, пожаловались бы на свою горькую судьбину и разошлись бы тихо, мирно. А там авось как-нибудь и разогнало бы тучу… Но простодушный телеграфист не горазд был на выдумки и на требование «бить телеграмму в Баку» только руками развел, что в воспаленном сознании солдат преломилось как нежелание расстараться и уважить.

   — Лукин! — надорванный и полный отчаянья голос. — Лукин, чепыхни его!

   — Эх! — плюнул Лукин в кулак. — Патриёт, война до победы! — И чепыхнул: телеграфист затылком о стенку, уклеенную плакатами «Заем свободы».

   В этот миг грохнул взрыв брызнуло стекло стены вокзала дрогнули.

   Отхлынув от телеграфиста, бросились вон. Сперва никто ничего не мог понять. Перрон был окутан дымом, в дыму — стоны, тревожные выкрики и четкая команда:

   — Тре-тья со-тня в цепь!

   — Санитара сюда…

   — Эскадро-о-он, по ко-о-ням!

   — Кирюха, где наши?

   Мало-помалу дым развеялся.

   По перрону там и сям лежали ничком и навзничь, ползали и стонали раненые, контуженные. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько теплушек было сорвано с рельсов.

   Низенький, коренастый артиллерист Карской крепостной артиллерии стоял, прислонись к осмоленному взрывом фонарному столбу, размазывал кровь по круглым щекам и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, бормотал:

   — Да как же оно так?.. Да боже ж ты мой… Да это ж его, бедолаги, сивая шапка… — Затем, придя немного в себя, артиллерист уже более связно рассказал окружившим его солдатам: — Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос… За салом мы с ним в поселок ходили, сала ни шматка не нашли… Ну, роспили вина баклажку… Идем назад, тихо так и смиренно о домашности разговариваем, а у Паньча на горбу, надо вам знать, полный мешок бомб и динамиту — на родину, бедолага, вез, буржуев глушить… Сала мы не сыскали, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не сыскали… Пока шли, роспили еще одну баклажку, но захмелели не дюже, а так — вполпьяна. Доходим до станции, степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим — что за диво! — вагона нашего нет. Искали, искали, нету вагона. «Это насмешка над нами, — говорит Паньчо, — тут стоял вагон, и нету вагона». — «Это, — говорю и я, — дюже обидно. Пойдем-ка до дежурного по станции, поговорим с ним тихо, благородно». Только мы с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали расспрашивать, как бы нам к дежурному пройти, откуда ни возьмись чумаха-парень. «Кой, кричит, черт на дороге встали?» — и ударь, стервец, моего друга чайником по горбу: Паньчо, известно, зашипел и взорвался… Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой добро был, боже ж ты мой… Как, бывало, выйдем с ним на улицу, в своем то есть селе, как в две гармони рванем-рванем… Ууу…

   Ахали, матюшились, из рук в руки переходила окровавленная, с прилипшими клочьями рыжих волос, казенного образца шапка-вязёнка.

   Пальба в горах стихла.

   Под песню и бренчанье походного бубна вернулись из боя казаки. Собачьи малахаи и курдские папахи, заветренные суровые лица, крепкие зубы и еще горящие тревогой и боевым задором глаза.

Со набега удалого
Едут казаки домой,
Гей, гей да люли,
Едут казаки домой…

   Они привели с собой легких, как зори, татарских коней, — пленных дорогой порубили, — громовым «ура» солдаты встретили казаков.

   Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными скрепами, покатили на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.

   В Баладжарах затор.

   Кобылки скопилось сто тысяч — сбор богородицы, разных губерний и частей, — ехать не на чем, ехать боялись, но ехать все-таки надо.

   По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали и так валялись казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли одни уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, погибли в походах. У костров обсушивались и дремали солдаты экспедиционного корпуса генерала Баратова. За три долгих горьких года они выходили все дороги и волчьи тропы от Кавказа до мосул-диальских позиций и обратно. Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные десны их сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедали шкуру томленую… Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!.. Стлался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то бамбуковые костыли раненого, то одичавшие, точно врезанные в голодное лицо, глаза.

   В эшелонах смеялись и плакали гармони, пылали песни. Между путями отхватывали русского и гопака, в почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестели глаза; топотом, гиком и хлопаньем жестких ладоней заглушали в себе тоску, голод, страх и отчаяние…

   На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Баладжарах было холодно, голодно и неприютно. Толпами валили в город, но и там хлеба не было.

   С моря перекатом шел воевой ветер и черным стоном штурмовал горы.

   Из города — днем и ночью, на извозчиках, в автомобилях — приезжали агитаторы разных партий.

   Солдаты все слушали с интересом, но в потоках ораторского красноречия и ругани они с большей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России вовсю идет борьба из-за власти двух течений — большевики и буржуазия, по Кавказу горцы кричат: «Долой гяуров», — в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия — все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан предается исламу и Турции…

   Паровозы рявкнули, солдаты, не дослушав длинной резолюции о поддержке большевиков, с криками: «Правильно! Правильно! Долой войну!» — стали разбегаться.

   Поезда выматывались на простор.

   Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали вполглаза. Чуть тревога — начинали звонки звонить, ружья палить, гудки гудеть. Отбивали нападение и катили дальше.

   Стучали колеса сыпались станции лица дни ночи…

   Войска имели разгульный вид, везде народ, как пьяный, шумел.

   — Якого полка?

   — Пятнадцатого Стрелкового. А вы?

   — Второго Запорожского.

   — Ко дворам?

   — Эге.

   — Какой станицы?

   — Платнировской.

   — А мы, дядечку, расейские. Курской губернии, Грайворонского уезда… Буржуев едем крушить.

   — Давай бог.

   Слева торчали горы дагестанские, а справа — отвалом — голубыми вихрями пылал Каспий-батюшка…

   На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожухах, они бегали перед вагонами и на разные голоса причитали:

   — Служивые, оборони… Родимые, защити.

   — Что такое?

   — Чечены нас забижают… Грабежи, убойство…

   Собрали митинг и постановили — подать помощь от нападов чеченов. Дело было ночью. По направлению к горам постреляли из пушек, не сгружая их с платформ. Набрался отряд охотников, набросились на ближайший аул. Аул горит, трещит, искры сыплются, бабы и ребятишки воют, чечен стреляет до последнего.

   Наменяли у мужиков хлеба на оружие и поехали дальше.

   Чугунное тулово печки было раскалено докрасна. По закопченным стенкам теплушки полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя, стоя — кто как сумел примениться к своему месту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки, дремал на верхних нарах. Под дробный говор колес видел он себя на молотьбе: пожирая снопы, ровным стуком стучит молотилка; зерно, шипя, течет в уемистые мешки; в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп, плывет Марфа; пышет солнышко, жилы в Максиме стонут, нутро дрожит…

   Под утро Кавказ выпустил эшелон из своих каменных объятий, горы начали отставать, впереди снежной пеной закипела степь моздокская…

   Ду-ду ууу ууу…

   — Вырвались с проклятья — Расея!

   Стремительны и яростны мчались дни.

   Пыль… Дым… Гром…

   Чем дальше от фронта, тем солдат шел все озорнее. На разгромленных станциях сами грели кипяток, сами били звонки, давая самое скорое отправление всем поездам и на все стороны — катай!

   На перегоне Хасав-Юрт — Моздок — Грозный путь во многих местах был разобран. На обе стороны от насыпи— торчмя, на боку, вверх колесами и всяко — валялись искалеченные, как детские игрушки, паровозы, цистерны, вагоны. По следам ремонтных летучек и саперных команд, восстанавливающих дорогу, крались, подобны шакалам, банды мародеров и снова сдирали рельсы, раскидывали шпалы. Поезда то вдруг срывались и летели, не тормозя ни на поворотах, ни под уклоны, — вагоны шатало, мотало, солдат било о стенки, сбрасывало с крыш и буферов; то, хрипя и натужась, паровозы вяло тащили длиннющие составы, часто останавливались и подолгу простаивали по брюхо в снегу. Некоторые казачьи части двигались в конном строю; другие шли походным порядком, соблюдая все меры предосторожности; были и такие, что шагали по шпалам, ведя за собою порожние вагоны в надежде раздобыть где-нибудь паровоз: большей частью это были сибиряки или уроженцы центральных и северных губерний, здраво рассуждавшие, что ехать им не миновать и расставаться с вагонами не рука.

   По ночам суровое — в клубах смолистого дыма — зарево охватывало полнеба: то с самого лета горели грозненские нефтяные промысла.

   По всему Кавказу с треском разгоралась классовая, национальная и сословная война. Всплыли поросшие травой забвения старые обиды. Рука голодаря тянулась к горлу сытача. По горным тропам и дорогам переливались конные массы. Терек, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда были окутаны пороховым дымом, — в дыму сверкал огонь, сверкал клинок, — пожаром лютости были объяты народы тех земель. Уже крутенько ярилась станица, косясь на город и грозя шашкою своему давнишнему недругу, жителю гор.

   Бурно митинговали аулы.

   На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили:

   — Цар бляд! Цара не нада, земля нада!.. Казах бляд! Казах не нада, война нада!.. Земля наша, вода наша, Кавказ наша!..

   Казаки, как в старину, выгоняли скот на пастбища под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных же на своей земле горцев резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, тут запарывали до полусмерти и отпускали с наказом.

   — Вот твоя граница, костогрыз. Помни, ядрена мать, и детям и внукам своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь — отъем!

   Караулов — наказной атаман терского казачьего войска, член Государственной думы — бросил клич:

   — Казаки и горцы — братья. Казаки и горцы — хозяева Кавказа. Мужиков и всякую городскую рвань будем гнать с Кавказа плетями.

   Фронтовики встретили Караулова на станции Прохладной — один вагон к паровозу прицеплен — и заговорили, заматерились:

   — Как вы, господин атаман, казаков застаиваете, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об нашем брате, мужике, подумает?

   — Геть, чертяки! — зыкнул чубатый атаманов гайдук. — Не шуметь у вагона, их высокоблагородие изволят отдыхать.

   Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:

   — Как вы, господин атаман, азията с русским стравливаете, казака с рабочим и крестьянина с казаком стравливаете? Когда будет конец такому зверству?

   В это время, с пучагой разноцветных депеш в руке, прибежал другой гайдук и, на ходу бросив машинисту: «Поехали», — тоже исчез в вагоне.

   Паровоз гукнул и зашипел, готовый вот-вот тронуться, но солдаты стояли на путях сплошной стеной и не думали уступать дорогу.

   — Как так, господин атаман, вы один на паровозе туда-сюда раскатываетесь, а нам по-нужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а у нас с тоски и голоду отстает от костей последняя шкура?

   Вперед протискался, припадая на перебитую ногу, инвалид и с ожесточением принялся колотить костылем по лакированной стенке вагона:

   — Вылазь, гад! — Изможденное лицо его было измято злобой. — Вылазь, курва!

   — Вылазь! — подхватили и другие. — Вылазь, нам самим ехать охота.

   В окне показался заспанный, хмурый атаман. Некоторое время он молча глядел на беснующихся солдат, потом, полуобернувшись, что-то сказал своим гайдукам и…

   — Пулемет! — дико завопил инвалид и, подхватив свои костыли, заковылял прочь.

   И точно, многие увидали в окне вагона хобот пулемета… Тогда, сколько ни было на станции фронтовиков, все посрывали из-за плеч винтовки и давай залпами садить в крытый синим лаком вагон. Так был казнен атаман Караулов. И вот уже он вместе с гайдуками выброшен на перрон, а издудырканный вагон до отказу набит солдатами, солдаты располагаются на крыше.

   С паровозной будки говорит речь молодой казачок:

   — Господа солдаты… Вам воевать надоело, и нам воевать надоело… Вы с фронта тикаете, и наш первый Волгский полк из Пятигорска чисто весь разбежался. Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь и городские комиссары тоже сволочь. Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Отныне и до века не видать им нашего покора, не дождаться нашего поклона! Они дорываются стравить нас, дорываются заквасить землю кровью народной. Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней — землю пахать, вино пить да жинок своих любить…

   Речь та всем понравилась, пошло братанье солдат с казаками.

   …Рядом же, вокруг загруженных пушками платформ, воровато шныряли кабардинцы в высоких папахах, с нагайками в руках. Они не без робости заглядывали в начищенные стволы орудий, неуверенно трогали орудийные затворы, лафеты, щитовые прикрытия.

   — Русский, продавай.

   — Купи.

   — Сколько берешь?

   — Сколько убежишь.

   — Зачем твоя шутишь?

   Кабардинцы, присев на корточки в круг, совещались, бормоча все разом и щелкая языками. Потом снова осматривали орудия и снова спрашивали:

   — Солдат, бушка стреляет? Пороха есть?

   — Готова, заряжена. Подставляй башку, попробую пальну разок…

   — У меня башка один, башка жалко… Стреляй, пожалуйста, туда на гору.

   — Эка, пес, смыслишь?

   — Продавай бушка?

   — Зачем она тебе?

   — Надо, бульно нада бушка. Ингуш — собака, чечен — собака, адыге — собака, натухай — собака… Иё-ёй, много туда-сюда собака, воевать буду, продавай!

   — Покупай.

   — Пачем?

   — Руб фунт.

   — Га, зачем твоя смеялся…

   Рядились до ночи… А ночью артиллеристы растаскивали по вагонам связанных барашков и огромные лепехи овечьего сыру; потом считали и, ругаясь, делили серебро царской чеканки. С платформы на руках, чтоб грому лишнего не было, кабардинцы скатывали орудия и подпрягали в них уносливых коней. Погромыхивая орудийными щитами, запряжки трогали, мчались в горы, зарывались в ночь и в ветер.

   Потолкался Максим в народе, послушал, чего люди говорят, и вернулся к себе в теплушку: мешка с одежей не было, остался один ящик с солдатскими голосами.

   — Вот так клюква, — огорченно крякнул он, усаживаясь на солдатские голоса, — совесть в людях пропала, прямо из-под рук рвут.

   — Какая ныне совесть, — отозвался, прожевывая сало, ополченец, — позавчера под Дербентом своих раненых не подобрали.

   — Срамота, — опять сказал Максим, — эдак будем друг у друга шапку с головы воровать, так и свобода нам ни в честь, ни впрок, все в цыганску партию угодим.

   — Во, во, — согласился ополченец и покосился на урну. — Чего везешь?

   — Голоса.

   — Чево-о?

   — Голоса солдатские.

   — Ааа… Чудно дядино гумно: семь лет хлеба нет, а свиньи роются.

   — Чудно, да не больно.

   — А я думал, торгуешь чем… Какая тебе от них корысть?

   — Депутат. В учредилку представить должен.

   — Э, милок, хватился. Али не слыхал, в Грозном носатый парнишка-то высказывал: тю-тю учредилка, палкой по боку ее. Ныне на всей Расее верхом большевики сидят, а это, брат ты мой, такие люди, такие люди… И тебя, братец, за твои шанцы не похвалят, не побоятся твоих рыжих усов.

   — Цыц! — вскочил голодный Максим, свирепо глядя на засаленные до ушей щеки ополченца. — Драть я их хотел: и большевиков, и меньшевиков, и тебя, дурака, вместе с ними! Никаких шанцев у меня нет. Полк послал меня, полк доверил мне голоса свои, и я сдам их честь по чести куда следует.

   — Эка, осатанел! — попятился ополченец. — Я што, я ничего, мое дело ахово…

   На полке рр…

   Под полкой рр…

   Из темного угла веселый голос:

   — Батарея, огонь!

   И пошла потеха.

   — Дьявола, дверь открой, дышать нечем.

   Ополченец, творя молитву на сон грядущий, угнезживался спать. Скоро с подсвистом и перехватами захрапел и весь вагон. На одной из остановок Максим посадил молодого гармониста, который обещался даром играть до самого Армавира.

   — Ну-ка, ну, тряхни, — попросил Максим, усаживаясь на нарах поудобнее. — Я ведь тоже игрывал, когда холостым ходил. У меня трехрядка саратовская была, с колокольчиками… Как, бывало, пустишь — отдай все и мало!

   Гармонист вывязал из скатерти ливенку, закинул ремень на плечо и, рванув меха, пустил звонкую трель.

   Печка остыла, людей тревожил холод, будила гармонь. Крякая, харкая и зевая спросонок, они подымались, свертывали закурки и молча, с явным удовольствием, слушали. Трепаная, протертая на углах ливенка рассказала про Разина-атамана, про горюшко бурлацкое. Гармонист переиграл все переборы и вальсы, какие умел, перепел все песни, какие помнил, и, отложив гармонь, принялся разживлять печку. В сыром сизом дыму проблеснул огонь, заревел огонь в жестяной трубе и растопил молчание. Вострый на зуб, конопатый фельдфебелишка окликнул гармониста:

   — Эй ты, кепка семь листов, одна заклепка, чей будешь?

   — Я?.. Я — армавирский.

   — Играешь, значит, веселишь народ?

   — А что нам, малярам, день марам, неделю сушим.

   — Ездил далека ли? — И он добавил горячее словцо.

   Кто-то засмеялся, а парень отшутился:

   — Аяй, дядя, какой ты дошлый, а ну, умудрись — пымай в ширинке блоху, вошь ли, насади ее фитой и держи за уши, пока ворона не каркнет…

   Они перебросились еще парой-другой злых шуток, и фельдфебелишка, истощив свое красноречие, отстал.

   Гармонист поставил гармонь на коленку и, тихонько перебирая лады, начал было рассказывать про гулянку на сестриной свадьбе, со свадьбы он и возвращался. Его перебили голоса, полные зависти и скрытой обиды:

   — И воюй там…

   — Тыл он и тыл. Мы воюем, а они жируют…

   Обуреваемый веселыми воспоминаниями, гармонист откинул полу поддевки и лихо топнул ободранным лакированным сапогом, как бы показывая, что хоть сейчас готов и в пляс пуститься.

   — Эх, земляки, время идет, время катится, кто не пьет, не любит девок, тот спохватится! Всех тамошних плясунов переплясал, и сейчас еще пятки гудят… Дело мое молодое, дело мое холостое, завод закрылся — самое теперь время погулять, да по горам, по долам с винтовочкой порыскать…

   — Ехал бы под турка, там есть где порыскать.

   — Мне турки не интересны. Мне интересно контрика соследить и хлопнуть. Третий месяц с ними полыщемся.

   — С кем, с кем, сынок, полыщетесь?

   — Да с казаками, с офицерней… То во славу контрреволюции восстание поднимут, то забастуют по станицам и хлеба в город ни пылинки не везут, а нам без толку помирать не хочется.

   — Так ты красногвардеец?

   — Так точно.

   — Расскажи нам, что вы есть за люди и какая у вас цель? Всю дорогу звон слышим, а разобраться не могем…

   — Хитрости тут никакой нет. Мы — за советы и за большевиков… Наша программа, товарищи, самая правильная, коренная…

   — Вон што…

   — Так, так…

   — А по скольку вы хлеба получаете?

   — Кисель, сметана и все на свете наше… Товарищ Ленин прямо сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса. Да… Хлеба по два фунта на рыло получаем, сахару по двадцать четыре золотника, консервов по банке, а жалованье всем одинаково — и командиру и рядовому одно жалованье и одна честь.

   Пожилой солдат, с широкой и рябой, как решето, рожей, подошел к красногвардейцу и, тыча ему в глаза растопыренными пальцами, вразумительно сказал:

   — Сынок, не программой надо жить-то, а правдой…

   Мало-помалу в разговор ввязались все и заспорили, какая партия лучше. Кому нужна была такая партия, чтоб дала простому человеку вверх глядеть; кому хотелось сперва по земле научиться ходить; а кому никакая партия не была нужна и ничего не хотелось, окромя как до дому довалиться, малых деток к груди прижать да на родную жену пасть… Одни одно кричали, другие другое кричали, а гармонист свое гнул:

   — Партии, — говорит, — все к революции клонятся, да v каждой своя ухватка и выпляс свой… Эсеры, лярвы, хорошая партия; меньшевики, гады, не плохи; ну, а большевики, стервы, всех лучше… Эсеры с меньшевиками одно заладили и знай долбят: «Потише, товарищи, потише», — а мы как гаркнем: «Наддай пару, развей ход!» Таковой наш клич по всей по России огнем хлестнул — рабочий пошел буржуя бить, мужик пошел помещика громить, а вы… вы фронт поломали и катите домой… Наша большевицкая партия, товарищи, дорого стоит. У нас в партии ни одного толсторожего нет; партия без фокусов; партия рабочих, солдат и беднейших крестьян. Я вас призываю, товарищи…

   — В тылу вы все герои, — визгливо закричал, прочихавшись после понюшки, шухорный фельдфебелишка. — В заводы да фабрики понабились, как воробьи в малину, и чирикаете: «Война до победы». Три года тут бабки огребали, на оборону работали, а теперь пришлось узлом к гузну, вы и повернули: «Мы-ста, товарищи, да вы-ста, товарищи». Как мы замерзали на перевалах и в горах Курдистана, вы не видали?.. Как мы умирали от цинги и тифу, вы не видали?.. Слез наших и стонов вы не слыхали?

   — Нечего нам друг на друга ядом дышать, — сказал Максим, — время-то какое…

   — Время такое, что — ну! — подхватил гармонист. — Дух в народе поднялся. Каждый в себе силу свою услыхал. У вас вчера фронт был, у нас нынче фронт. Вы там кровь роняли, нам придется тут еще больше крови уронить: что ни город — фронт, что ни деревня — фронт, изо всех щелей контра лезет… Вас палками гнали на фронт, а у нас с завода больше половины мастеровых добровольцами записались и прямо с митинга — с песнями, граем — пошли на позицию. К отряду нашему и с воли желающие начали приставать, но многим из слободских не идея была интересна, а нажива… Занимаем, господи благослови, первую станицу: поднялась стрельба, все бегут, от испугу одна корова сдохла, жители плачут и думают, что пришел свету конец… Давай право отбирать оружие и делать обыски. Тут-то и был получен декрет Крыленки малодеров расстреливать. Подставили мы одного уховерта к забору, он говорит: «Дай последнее предсмертное слово». Дали ему слово. Но от испуга он больше ничего не мог выговорить, и его застрелили. После этого обыски были честные, и никто нигде не запнулся. Переночевали мы в станице, утром получаем приказ: «Поднимай батарею, отходи на заранее приготовленные позиции». Подхватили мы свои бебехи и с радостью давай отступать. В тот же день двое из наших ребят умерли от хлеба со стрихнином, как было признано медициной. А хлебом нас угостили казаченьки, во, гады…

   — Опять война, — вздохнул кто-то, — что-то уж больно мы развоевались, удержу нет… Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?

   — Сперва оно действительно вроде неловко, — ответил красногвардеец, — а потом, ежели распалится сердце, нет ништо… Драться с казаками трудно, они с малых когтей к оружию приучены, а наш брат, чумазый, больше на кулаки надеется. Под станицей Отважной бросилась на нас в атаку казачья сотня в пешем строю. Мы лежим в окопах, стреляем, а они идут во весь рост. Мы знай свое стреляем, а они — невредимы. С нас пот льет градом, стреляем, а они — вот они! — совсем рядом, саблями машут и «ура» кричат. Видим, дело хило. Вылезаем мы из окопов, берем винтовки за раскаленные дула, да к ним навстречу, да как начали их по чубам прикладами глушить… Шестерых у нас тогда ранили да слесаря Кольку Мухина зарубили, ну и мы им задали чесу, будут помнить.

   Рассказчика тесно обступили и вперебой принялись выспрашивать про Россию: можно ли проехать в ту или другую губернию, где и с кого получать недочеты полкового жалованья, и кто и почему фронтовиков разоружает.

   — Мы разоружаем.

   Загалдели, заматерились…

   — Здорово живешь… А вы нас вооружали?

   — Как ты смеешь у меня отбирать винтовку, когда я, может быть, сам хочу с буржуями воевать? Да я…

   — Не горячитесь, земляки. Я вам сейчас все это объясню… Оружие мы раздаем дорогим нашим революционным войскам и с приветом отправляем их на Ростовский фронт. На Дону против революции восстали генералы, офицеры, юнкаря. На Дону война идет на полный ход. Нам не сдадите оружия, поедете дальше в Кубанскую область, там вас все равно полковник Филимонов разоружит.

   — Какой такой полковник? Душа из него вон. Мало мы их покувыркали?..

   — Тут дело простое — у нас власть советская, а у казаков власть кадетская… Дон, Кубань и Терек большевиков не признают… У нас — совдепы, у них — казачий круг и самостийная рада. Они дрожат над кучкой своего дерьма, а мы кричим: «Вся Россия наша…» Филимонов есть войсковой атаман кубанского казачества. Он спаривает войсковой круг с радой, рада Кубанская сговаривается о чем-то таком с Украинской радой, но мы раз и навсегда против всей этой лавочки… Нам с ними так и так царапаться придется. Сейчас, ничего не видя, и то бои кругом идут: на Тамани бои, на Кубани бои, на Дону бои… Как у вас титулованье? — спросил красногвардеец.

   — «Господа», — ответили солдаты хором.

   — Долой господ… По декрету полагается называть друг друга товарищем.

   — Нам все равно, товарищ так товарищ, только бы вот недочеты полкового жалованья выдали да хлеба на дорогу…

   Максим побарабанил согнутым пальцем по ящику с голосами и спросил красногвардейца:

   — Выходит, зря голосовали мы?

   — Зря, землячок.

   — Как так?.. Не мог же целый полк маху дать?

   — Вся Россия, брат, маху дала… Давно бы нам…

   Паровоз заржал, разговор оборвался, и двери теплушек распахнулись навстречу городу.

   Над крышами домов рвалась шрапнель, где-то совсем близко застучали пулеметы: с высокого закубанского берега восставшие казаки станицы Прочноокопской обстреливали город.

   На перроне толкались красногвардейцы, одетые в вольную одежду и обвешанные оружием.

   Эшелон медленно подходил к вокзалу.

   Забитые пылью, задымленные теплушки — в скрипе рассохшихся ребер, в кляцанье цепей, в железном стоне своем — напоминали смертельно уставшую от большого перехода партию каторжников. Из теплушек на ходу выпрыгнули несколько солдат и, размахивая котелками, кинулись за кипятком.

   — Бомбы! Бомбы! — завопил один из красногвардейцев, приняв котелки за бомбы, и — бежать… За ним, срывая с себя ремни и оружие, последовали и товарищи. Вослед им, подобен каменному обвалу, грянул хохот… Смущенные гвардейцы возвращались, разбирали и опять навешивали на себя брошенное оружие, подсумки с патронами, разыскивали потерянные калоши.

   Встречать прибывший эшелон вылетел комендант станции в шинели нараспашку, с наганом в руке.

   — Приветствую вас! — багровея от натуги, заорал он. — Приветствую от имени… от имени Армавирского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов… Герои эрзерумских высот… Защитники дорогого отечества… Долой погоны! Сдавай оружие!

   Кругом серым серо. Ходи, Расея!

   заорали, засвистали:

   — Рви погоны!

   — Ложи оружье!

   — Галуны и погоны до-ло-о-ой под вагоны!

   Столбы, заборы, стены были сплошь уклеены плакатами, декретами и воззваниями к трудящимся народам всего мира.

Всем, всем, всем!
Читай и слушай.
Все наружные отличия отменяются.
Чины и званья упраздняются.
Ордена отменяются.
Офицерские организации уничтожаются.
Вестовые и денщики отменяются.
В красной гвардии вводится выборное начало.
Мир хижинам! Война дворцам!
Товарищи! — через горы братских трупов,
через реки крови и слез,
через развалины городов и деревень, — руку, товарищи!
Штыки в землю!
Под удар — царей!
Под удар — королей!
Срывай с них короны и головы!
Пролетарии всех стран, соединяйся!

   Фронтовики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельдфебель, у кого кресты и медали — домой всякому хотелось показаться в полной форме.

   На путях по вагонам сидели казаки и не хотели сдавать оружие. Красногвардейцы, в среде которых были и солдаты из понимающих, выкатили на мост пулеметы и поставили казакам ультиматум: «Сдавай оружие».

   Гудки дают тревогу народ бежит казаки дрогнули и сдались.

   Со стороны города слышалось: «Ура! ур-ра!» Откуда-то на шинелях несли раненых.

   — Ну, что? Как там?

   — Отбили.

   — Велик ли урон?

   — Бой был боем турецкого фронта с пулеметным и орудийным огнем, трое суток без передышки. Будь они прокляты!

   Максим отправился на поиски хлеба.

   Воинские продовольственные лавки были разгромлены. Около заколоченного досками питательного пункта с аттестатами в руках бродили фронтовики. Горестно ругаясь, понося новые порядки и размахивая принесенными на менку рубахами и подштанниками, солдаты табунами шли на базар.

   Хлеба не было ни на базаре, ни в городе. Обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а городские лавочники отсиживались за дубовыми дверями и, гоняя чаи, выискивали в священных книгах роковые сроки и числа.

   На базаре было весело, как в балагане.

   Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угреве сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливцы громят винные склады.

   Через толпу пробирался бородатый красногвардеец — винтовка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.

   — Купи, дядя, офицера?

   — Какого офицера?

   — Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.

   — Зачем он мне?

   — Расстреляешь.

   — А вы — сами?

   — Он перед нами ни в чем не виноват.

   Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и крендели и сало, другой — вынул затвор из винтовки.

   — Так не купишь офицера?

   — Нет… Мы их и не купленных подушим, наших рук не минуют.

   — Ну, прощай… А затвор-то у тебя где? Пропил?

   Тот схватился — нету затвора.

   — Отдайте, ребята…

   Посмеявшись над бородачом, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.

   На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:

   — Петь и плясать ему среди базара до темной ночи. А один весельчак добавил:

   — Ночью иди опять воруй, только не попадайся. Блеснули теплые глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:

В арсенальном большом замке
Два солдатика сидят…
Оба молоды, красивы,
Про свободу говорят…

   Откуда-то опять пронесли и провели под руки раненых. Голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и на все солдатские голоса выменял у бабы коврижку ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб — одну краюху в карман сунул, другую принялся есть над горсточкой, не теряя ни крошки.

   Погром на базаре начался с пустяков.

   — Почем селедка?

   — Четвертак.

   — Заверни парочку для аппетиту.

   — Изволь.

   Завернутые в листок солдатского голоса селедки нырнули в шинельный рукав.

   — Служивый, а деньги?

   — Деньги?.. Да ты, тетка, ошалела?.. Уплочены деньги, али другие хочешь согнуть?

   Торговка солдата за жабры.

   — Подавай денежки, разбойник!

   — Это я-то разбойник? — обиделся солдат.

   Развернулся цоп бабу по уху.

   Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-за пазухи у нее на грех и вывались два каравая хлеба. Скрипнул зуб, рявкнула глотка солдатская:

   — Ах ты, нация-спекуляция… Эдак народ мучится, а у нее за пазухой целый кооператив.

   Хлеб разорвали и поглотали в мгновение ока.

   Под ударами прикладов загремела первая разбиваемая лавка, а потом — пошло.

   Штык к любому замку подходил.

   Все базарные лавки в два счета были развалены и товары раскуплены — колбаса, конфеты, табачок, фрукты, — помалу досталось, а кровушки за три года пролили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой тут не заешь… Помитинговали-помитинговали и шайками потекли в город.

   — Должон быть хлеб.

   — Должон… Деться-то ему некуда, не вихрем подняло в самом деле?

   — Это они умно придумали, поморить солдат голодом…

   — Хлеба много, тут на вокзале один старичок сказывал… Весь хлеб, слышь, большевики немцам запродали… Хлебом все подвалы забиты.

   — Врут, не спрячут, солдат найдет.

   — Ох, ребята, бей да оглядывайся…

   В городе голодные разгромили несколько пекарен, тем все и окончилось.

   В вокзале митинг.

   С речами выступали и сторонники разных партий и так просто любители. Кто хотел слушать, тот слушал. А кто пришел под крышу погреться или выспаться — они сидели и лежали на мешках и мирно беседовали. Меж ними шнырял мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:

   — Эх, вот махорка корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на люботу, кровь разбивает, на любовь позывает, давай налетай двугривенный чашка…

   По буфетной стойке бегал, потряхивая длинными волосами и размахивая руками, оратор:

   — Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат турецкого фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета… Товарищи и граждане! Преступный и позорный брестский мир толкает свободную родину в пучину гибели. Россия — это пароход, потерпевший в море крушение. Мы должны спасти гибнущую страну и самих себя. Довольно розни и вражды. Большевики хотят стравить вас с такими же русскими, как и вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы. Товарищи и граждане…

   Солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами щупали жигилястую фигуру оратора, посматривали на его затянутые в чистенькие обмотки дрыгающие ноги и по множеству, лишь им и ведомых, мелких признаков решали: стерва, приспешник буржуазии.

   Потеряв терпение, на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий, как копыл, солдат. Он решительно отодвинул жигилястого в сторону и взмахнул рукавами.

   — Братаны… — Распахнулась надетая на голое тело шинель, на расчесанной груди чернел медный крест. — Братаны, расчухали, куда он гнет и чего воображает?.. Не глядите, что член какого-то комитета: мягко стелет, да жестко будет спать. Он есть гнилой фрукт в овечьей шкуре… Расписывал — заслужили, мол, вы славу, доблесть…

   Скрестились крики, подобны молниям:

   — Заслужила собака удавку… Вшей полон гашник.

   — Он поди из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга.

   — Тоже и Керенский ботал…

   — Гражданин, — вскинулся жигилястый, — вы не имеете права… Керенский — сын русской революции.

   — Сукин сын, — озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул новый оратор.

   Грянул хохот…

   Рукоплесканиями, криками одобрения слушатели приветствовали острослова: в широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще не выбитые стекла.

   Солдат поддергивал спадающие стеганые штаны — за горбом звякал котелок с кружкой — и говорил… Говорил он громко, раздельно, чтоб всем и слышно и понятно было:

   — Братаны… Я фронтовик тридцать девятой пехотной дивизии, Дербентского полка. Дивизия наша по всему Ставрополью и кое-где по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть… Полк наш расквартирован тут недалече, на хуторе Романовском… Я приехал сюда для связи… Под Ростовом действительно фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет… Братаны, чего вам тута сидеть и кого ждать?.. Кто немощен духом, слаб телом — сдавай винтовку… Остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки… Затягни за собой всех своих товарищей, зятьев и братьев… Выбирай командира, получай денежное, приварочное и чайное довольствие и — налево кругом марш… Выпускай из буржуя жирную кишку, поддерживай молодую свободу согласно декрета народных комиссаров… Али вы хуже других?.. Али чужими руками хочете жар загребать?.. Али вам свобода не мила?

   — Мила, мила.

   — Едем, товарищи… Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?

   — Известно… Артелью не пропадем.

   — А домой-то когда же?

   — Домо-о-ой? Али давно бабу не доил?

   — Буржуев и в России много. Проканителимся тут, а там без нас всю землю поделят и всю воду отсвятят.

   Желающие стали записываться в отряд… Кого речь прошибла, кому хотелось быть поближе к дому, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.

   Записался в отряд и Максим.

   Долго выбирали командиров, потом разместились по вагонам и подняли хай:

   — Давай отправление!

   — Мы записались не гарнизонную службу нести! Продукты розданы, речи сказаны, эшелоны отваливали с музыкой, с криком — ура! ура! — и со стрельбой вверх.

   И снова замелькали, закружились телеграфные столбы, верстовые будки, курганы, кусты, овражки…

   Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на линейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые — с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иордань за крещенской водой.

   На Кавказской — скопище людей, лошадей, эшелонов. Дальше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатеринодара партизаны рыли окопы, отгораживаясь от Кубанской рады.

   За станицей, перед винными складами, день и ночь ревмя ревела, буйствовала пьяная многотысячная толпа. Солдаты, казаки и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены. Во дворе упившиеся не падали — падать было некуда — стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали; их затаптывали насмерть.

   В самом помещении пьяные гудели и кишели, будто раки в корзине. Колебался свет стеариновых свечей, на стенах под сетками поблескивали термометры и фильтры. В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а иные, припав, пили прямо как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варежки, окурки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.

   У одного бака выломили медный кран, живительная влага хлынула на цементный пол.

   Кругом блаженный смех, объятья, ругань, слезы… Во дворе жаждущие ревели, подобны львам, с боем ломились в двери, в окна.

   — Выходи, кто сыт… Сам нажрался, другому дай!

   — Сидят, ровно в гостях.

   — Допусти свинью до дерьма, обожрется…

   В распахнутом окне третьего этажа стоял, раскачиваясь, старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке — целовал их, прижимал к груди и вопил:

   — Вот когда я тебя достал, жаланная… Вот оно коко с соком…

   Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.

   Из подвального люка вылез хохочущий и мокрый как мышь, весь в спирте, солдат. Грязны у него были только уши да шея, а объеденная спиртом морда была сияюща и красна, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, верещал:

   — Пей… Пей… За всех пленных и нас военных… Хватай на все хвосты, ломай на все корки… Ээ, солдат, солдат, солдатина…

   Водку у него расхватали и, жалеючи, стали выталкивать со двора вон.

   — Землячок, отойди куда в сторонку, просохни, затопчут…

   — Я… Я не пьян.

   — А ну, переплюнь через губу!

   — Я… я, хе-хе-хе, не умею.

   Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом:

Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать.

   Тут драка, там драка: куда летит оторванная штанина, куда — рукав, куда — красная сопля… Сгоряча — под дождем и снегом — шли в реку купаться, тонули. Многих на рельсах подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.

   Ночью над винными складами взлетел сверкающий сребристый столб пламени… В здании — взрывы, вопли пьяных, яростный и мятежный пляс раскованного огня.

   Огромная толпа окружила лютое пожарище и ждала, все сгорит или нет. Один казак не вытерпел и ринулся вперед.

   — Куда лезешь? — ухватили его за полы черкески. — Сгоришь…

   — Богу я не нужен, а черту не поддамся… Пусти, не сгорю, не березовый! — Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь. Только его и видали.

   Тревожное ржанье коней разбудило Максима, — спал он в теплушке, у коней под ногами, — на вокзальных окнах и на стенках крашеных вагонов играли блики пожарища. С похмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал… Казаки из теплушек коней тянули, сумы тянули и — домой. Солдаты кубанцы запасались водкой на дорогу, собирались в партии и тоже уходили в степь.

   К одной партии пристал и Максим.

   Из Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллукстских укреплений и с залитых кровью рижских позиций — отовсюду, как с гор потоки, устремлялись в глубь мятущейся страны остатки многомиллионной русской армии. Ехали эшелонами, шли пеши, гнали верхами на обозных лошадях, побросав пушки, пулеметы, полковое имущество. По пустыням Персии и Урмии, по горным дорогам Курдистана и Аджаристана, по большакам и проселкам Румынии, Бессарабии и Белоруссии — двигались целыми дивизиями, корпусами, брели малыми ватагами и в одиночку, скоплялись на местах кормежек и узловых станциях, тучами облегали прифронтовые города.

На Киев и Смоленск
Калугу и Москву на Псков, Вологду, Сызрань на Царицын и Челябинск
Ташкент и Красноярск летели солдатские эшелоны, как льдины в славну вёсну!

**Над Кубанью-рекой**

   *В России революция — по всей-то по*

   *Расеюшке грозы гремят, ливни шумят.*

   Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ.

   Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа; выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру, и монгольский конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока. От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов. Полчища Тимура, словно поток камни, увлекая за собой малые народы, перекатывались через горные кряжи. До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои. Ученья фанатиков и языческих пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства. В веках — земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен, — сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.

   Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.

   Когда-то прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выискивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых диких коней. По заоблачью одиноко мыкались сизые орлы; из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову. По рекам и озерам дымились редкие становища медноликих кочевников, перегоняющих с места на место неоглядные отары овец. Порою, вперегонышки с ветром, проносилась налетная разбойничья ватага. Да от дыма к дыму, сонно позвякивая бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены, а борода завита в мелкие кольца.

   Года бежали, будто стада диких кабанов.

   Когда-то на Дону и в днепровских запорогах казаковали казаки, обнеси-головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли, а сыты были, прясть не пряли, а оголя пуза не хаживали; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, винцо пили и войны воевали. Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князькам черкесским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Челны удальцов — под счастливыми парусами — летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих добытчики паивали и в Аму-Дарье и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, корабли орленые топили, города расейские и басурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задирщики.

   А в кременной Москве сидел грозен царь.

   Царство московское крепло и расширяло владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы. Сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многие народы иных земель. Не корилась Москве одна казацкая вольница. Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю, ни боярину недавывали, дела решали на кругу. Гордая Москва не взлюбила того духа и, собравшись с силами, огневым боем ударила по гнездам соколиным… Закачался Дон, закачалось Запорожье, задрожала степь от конского топу да пушечного грому, запылала степь пожарами горькими… Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие — пали на колени, выпрашивая монаршей милости; а иные, подняв свои коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туретчину. Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу на Яик. И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест и засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепления строить и крестить неверов — кого крестом, кого шашкою — земли у них отнимать и богачество их разорять.

   Гремел и сверкал поток времени.

   Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси по многим сиротским дорогам на привольное житье украин бежали крепостные смерды и «упорствующие в злосмрадных ересях воители за веру христову». Над степью, грозя сияющим крестом далеким горам, вставали куренные поселки и раскольничьи скиты. Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи русские, но всесильная рука царя всюду доставала повольников. Мало-помалу казаки были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь задарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными и сословья утвердил — так вольное казачество было перестроено в войско верных казаков. Ордынцы защищали каждый камень и каждый клок своих пастбищ. Дикое ржанье коней, всплески клинков и крови сияющее зарево. Под напором русского штыка ломились аулы. Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак — добывая себе славу, а царю богатства — шашкой врубался в сердце Азии.

   Мутнёхонька, быстрёхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлёстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора — всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами — смотрелись в быстрые воды Кубани.

   С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.

   Полыхали зимы морозами.

   Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпродых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские — времен Запорожья — лихие пляски.

   А там прилетала и весна, ласковая да горячая.

   Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыпит поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья… Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство — вдогонку ей несутся птичьи щебеты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копья. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда — взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских метелей — с воем кидалась зима в битву, на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Корежило, ломало льды, трещали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Взыграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду — из-за птичьего гогота и кряка не слышно было человечьего голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье — ржанье, рев, блеянье, — всяк язык славил весну-красну.

   Хороши, горячи кони, мчащие весну.

   Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.

   Неделя, другая — и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.

   Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.

   Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.

   Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» — кидались с крутояра в разливы…

   С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.

   Станичники выезжали на покос целыми семьями — с бабами, ребятишками, принанятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парою, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.

   К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба — каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.

   В долинах, в горячем затишье вызревал табак.

   Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.

   Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.

   На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.

   Девки рано наливались, созревали для любви.

   Степь родила хлеб.

   Бабы рожали крепкомясых детей.

   Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.

   Богатый край, привольная сторонушка…

   Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой — мужики.

   На казачьей стороне — и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.

   Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями, подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то — многие — не досыта.

   Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.

   Так оно и было.

   Вражда велась издавна.

   В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье — с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы — купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.

   На крутом берегу Кубани глазами на реку стоял крытый железом каменный дом старожилого казака Михайлы Черноярова.

   Славились Чернояровы крепким родом, конями, доблестью и богатством.

   Михайле перевалило за шестой десяток, но еще горячи были его глаза, и еще несокрушимой он обладал силой. Темной дубки крупное лицо его было похоже на лоскут заскорузлой кошмы. Русая с прочернью борода расстилалась по могучей, будто колокол, груди. Из-под обкуренных дожелта усов сверкали в у смешке белые как кипень и целые все до единого зубы. Высоко поднятую голову — с подрубленным в скобку волосом — крыла форменная с захватанным козырьком фуражка. В старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривал за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время никто из домашних не смел при нем засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатушке, куда доступ бабам был запрещен, и нараспев — в четь голоса — читал библию, водя по строке перешибленным когда-то черкесской пулей и криво сросшимся пальцем. Порою тень глубокой думы набегала на его чело, и на пожелтевшую рябую страницу святой книги огненная падала слеза. Из глубокого кармана шаровар старик доставал окованную серебром трубку и заряжал ее целой горстью выдержанного по вкусу домашнего табаку. Курил, читал, вздыхал, вспоминая службу, походы и молодость свою, раздумывая о судьбах казачества и земли русской…

   Вырос да и всю лучшую пору жизни своей Михайла не слезал с коня. Он помнил хивинский поход и последнюю, 1877–1878 годов, турецкую войну. Афганский, глухих тонов, ковер — память о хивинском походе — и посейчас украшал стену его комнатушки. А в турецкий год с ним приключилась история, которая стоит того, чтобы о ней, хотя и коротенько, но рассказать. Под Златарицами из самого пекла рукопашного боя Михайла выхватил арабского скакуна — да такого! — какой и во сне не всякому приснится. На бивуаке станичники гурьбою пришли любоваться добычей. Самый старый в полку казак, Терентий Колонтарь, провел араба в поводу, осмотрел его зубы и носовые продухи, ощупал бабки, коленные чашки и подвздошные маслаки да сказал:

   — Добрый конь.

   И другие старики дули жеребцу в уши, вымеряли ребра и длину заднего окорока и тоже в голос сказали:

   — Добрый, добрый коняга.

   А когда Михайла, вскочив на араба, чертом пронесся перед станичниками раз да другой, — вскинулся Терентий Колонтарь, и гроза восторга пересверкнула в его очах.

   — Эге-ге-ге! — воскликнул он. — Такого коня хоть и наказному атаману под верх, так впору.

   И другие старики закивали сивыми чупрынами, приговаривая:

   — Эге-ге-ге, братику, ще не було такого коняки в нашем кубанском вийске.

   Похвала старых взвеселила сердце молодого казака, ибо чего-чего, а коней-то на своем веку те деды видывали. За стать, за удаль, за легкость кровей Михайла назвал жеребца Беркутом. Вскоре война окончилась, и русская армия с песнями двинулась к своим рубежам. В бессарабской деревнюшке, где казаки расположились на отдых, остановился на дневку и драгунский полк, что перекочевывал откуда-то из Галиции в Таврию. Командовал тем полком один из сиятельных князей, состоящий в родстве чуть ли не с самим государем. Однажды казаки и драгуны купали в Днестре лошадей. Тут-то князь и увидал Беркута.

   — Эй, станица, — окликнул он казака, — где украл такого чудесного жеребца?

   Михайла подлетел к князю, как был — верхом на Беркуте, голый, со щеткой на руке.

   — Никак нет, выше высоко…

   — Дурак. Титулуй сиятельство: я князь.

   — Не воровал, ваше сиятельство, с бою добыл.

   — Продай жеребца.

   — Никак невозможно, ваше сиятельство, самому надобен. — И Михайла повернул было коня обратно в реку, чтоб прекратить этот пустой разговор. Князь остановил его:

   — Сколько хочешь возьми, но продай.

   — Не могу, ваше сиятельство, мне без жеребца — зарез.

   Князь с ловкостью, поразившей кубанца, вскинул в глаз монокль и пошел вокруг горящего под солнцем атласистой мокрой шерстью жеребца. И опять тронул было Михайла, и араб заплясал, кося огненными очами на князя. И опять князь остановил казака и стал говорить о богатстве своем, о своих конюшнях, о курских, рязанских и саратовских землях, владельцем которых он являлся.

   — Я тебя, казак, награжу щедро.

   А Михайла, насупив брови, все бормотал «никак нет» да «невозможно». Вокруг них уже начали собираться казаки и драгуны.

   — Хочешь, — тихо, чтоб никто не слышал, говорит князь, и Михайла видит, как у него дрожат побелевшие губы, — хочешь, скотина, я тебе за жеребца перед целым полком в ноги поклонюсь?

   — Я не бог, ваше сиятельство, чтобы мне кланяться в ноги, — громко ответил ему Михайла и тронул. Князь, точно привязанный, пошел рядом с ним. Самый бывалый в полку казак, Терентий Колонтарь, уже смекнул, что дело не кончится добром, и, подойдя с другого боку, незаметно сунул Михайле в руку плеть. И снова спросил князь:

   — Так не продашь? — И снова ответил ему Михайла:

   — Никак нет.

   — Тогда… тогда я у тебя его отберу! — И князь схватился за повод.

   — И тому не статься! — уже с сердцем сказал Михайла, пытаясь высвободить повод из затянутой в перчатку руки князя. Да и конь уже беспокойно затряс головой, однако князь был цепок и повода не выпускал. Ободренный улыбками станичников, Михайла зло крикнул: — У турок много было коней еще краше моего, там надо было добывать, а вы по тылам вареники кушали да галичанок щупали. Отчепись!

   — Слезай, казак, — хрипло сказал князь и повис на поводу рванувшегося было Беркута.

   Тогда потянул Михайла того сиятельного князя плетью через лоб. Взвился Беркут на дыбы, оторвались руки князя, он упал было, но мигом вскочил и вскричал

   — Под суд! Под суд! Драгуны, хватай его!

   Но не уронил Михайла честь кубанского войска, голой плетью отбился от десятка кинувшихся на него драгун да прямо с яру махнул в Днестр, переплыл реку, держась за гриву коня, да так, в чем мать родила, и — гайда в степь! На пятые сутки он был уже на Кубани, в своем родном курене. В дальнейшем благодаря заступничеству наказного атамана и обильным взяткам, розданным военным чиновникам, дело было замято: из екатеринодарской войсковой канцелярии в санкт-петербургскую канцелярию полетела бумажка с вестью о том, что такой-то казак, такого-то числа убит за Кубанью в схватке с черкесами. Тем все и кончилось. А Михайла с командою охотников мыкался на своем скакуне по Черноморью и Закубанью, замиряя непокорных горцев — тут за самое короткое время он нахватал полную грудь крестов и медалей. Потом участвовал в подавлении ферганского восстания и в усмирении холерных бунтов, служил в конвое варшавского губернатора, служил в Петербурге, и когда, после японской кампании, вернулся домой, — его встретили бородатые сыны, подросшие внуки. Михайла пустил Мурата — сына Беркута — в войсковой табун и заделался домоседным казаком.

   За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей. Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.

   Старший, Евсей, был подсечен в Монголии пулей хунхуза.

   Подстарший, Петро, без вести пропал в Закавказье на усмирении.

   Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел на Украину наниматься в стражники и тоже — как с камнем в воду.

   У среднего, Игната, пехотный полковник сманил и увез невесту. Тихий и набожный от младости своей Игнат ушел с великого горя куда-то за Волгу, в раскольничьи скиты, и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.

   Сын Василий пристрастился к торговле и тоже отбился от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадьми, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные потом и дегтем мужицкие рублевики. Перед войной скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгрохал в городе каменный трехэтажный дом, открыл торговлю и зажил на широкую ногу. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.

   Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призыкнул на него и целый год продержал взаперти, приспосабливая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его неживых руках.

   — Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, — сказал отец, выпроваживая его со двора. — Езжай, задохлец, учись.

   Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Чернояров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.

   Младший сын, Иван, и нравом и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удальство, любовь к движению. С юных лет он отбился от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщовых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных заломах камыша, ныне разрослись хутора, рыбачьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко захаживал и заправский охотник. Путаные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал Ванька на обсохших кочках, кормился чем придется. Годам к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбачий стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, когда и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удальством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и шашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовках всегда был первым. В будни и в праздники шлялся по улицам, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночка темная знала, откуда казак добывал денег на гулеванье. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.

   Война раздергала семью Чернояровых.

   Мобилизовали внука Илью, мобилизовали внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет — он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.

   — Батяня, благослови, — повалился Ванька отцу в ноги.

   — И думать не моги.

   — Отпусти.

   — Принеси-ка, плеть, — загремел взбешенный его упрямством старик, — отпущу тебе с полсотни горячих!

   Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плеть.

   — Ложись, сукин сын, спускай штаны.

   Ванька заупрямился. Первый же удар прожег ему чекмень, рубаху, да и шкуры прихватил. Ослепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покатил по базу. Старик выгнал его из дому и — самая большая обида — не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего однолетка, дружка Шалима, и с казачьим эшелоном махнул на фронт.

   Война качнула станицу, станица крякнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, надсадное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.

   А там пошли и бородачи призывных годов.

   Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом — через моря и океаны — в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитым кровью полям.

   Нежданно-негаданно налетела революция и закружила, завертела станицу.

   Проглянуло солнышко и на дом Чернояровых.

   Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.

   — Здорово, казаки, — встретил их отец на дворе.

   — Здравия желаю, атаман, — устало улыбнулся Иван, сбрасывая с плеча вещевой мешок.

   Старик расцеловался с сыновьями.

   — Где Илюшку потерял? — спросил он Ивана. — Где Алешка? Наши писали, будто его… того, да я не верю.

   — Верь, Алексей под Перемышлем убит, батареец Степка Под-лужный самолично мне сказывал.

   — Угу, пиши — пропал казак.

   — Илька в плену.

   — Илюшка? В плен дался? Так, так… Два брата, два мосла… — Старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минутку в печали, обратился к сыну Дмитрию: — Ну, а ты на войне был?

   — Нет, папаша, меня освободили как слабогрудого.

   — Э-э, тухляй… И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился?.. Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадь в гору обгонял.

   Дмитрий растерянно пробормотал:

   — Я хотел… Но так вышло… Я не виноват… Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится… Вот моя жена Полина Сергеевна.

   Михайло искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебиравшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:

   — Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты как-никак нашего, чернояровского заводу.

   Повел сыновей по двору.

   Двор был чисто выметен. Крепкая стройка, пудовые замки, псы, как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе — кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу тюки шерсти-шленки.

   Старик нацедил из уемистого бочонка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану.

   — Со свиданием, сыны.

   — Как оно, батяня, живете и чем дышите?

   — Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакую, а все тянусь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу плюнуть ни разу не придете. Из меня — душа, из вас добры дни. Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Попомните мое слово.

   — Напрасно вы, папаша, так, — встрепенулся Дмитрий. — Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирался купить… Какое, однако, холодное вино — зубы ломит.

   — Дача, выезд, миллионщик… А с поезда чемодан на горбу приволок.

   — Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.

   — Тюря. Да я бы…

   — Хитро жизнь повернулась, — весело сказал Иван. — Кто был чин, тот стал ничем.

   Старик нацедил еще ковш и выпил не отрываясь.

   — Дисциплину распустили, оттого и бунт взыграл на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо… Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирили мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.

   Дмитрий замахал руками.

   — Ай-яй-яй, да вы, папаша, — старорежимник… Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей темной Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.

   — Бунты у нехристей нас не касаются, — убежденно сказал старик. — Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать — Расея — всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом. — Старик разгладил усы и заскорузлым пальцем погрозил невидимому врагу. — Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух полетел. Потом выставил бы казакам богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы все и кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.

   За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к награде, но кресты и медали не держались на его груди. Парень был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрубит, — награду у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозил расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тарнопольской тюрьмы.

   — Как же это вы немцам поддались? — допрашивал отец. — Опозорили седую славу дедов.

   — Мы — немцам, вы — японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепахивать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.

   — Палку на вас хорошую.

   — На драку много ума не надо.

   — Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты наг, бос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивай рукава, приступай к хозяйству. Умру, ничего с собой не возьму, все вам оставлю. Дом — полная чаша. Вам только придувать, заживете, как мыши в коробе.

   — Богатства нам не наживать, мы враги богатства, — глухо сказал Иван. — Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится — вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.

   — На фронт тебя ни государь, ни я не посылали, сам пошел.

   — Генералы-буржуазы, большевики-меньшевики — всех их на один крючок! Через ихние погоны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.

   — Чего мелешь? Какая война и с кем?

   — Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики… Нагляделся я на рязанские деревни; плохо живут — теснота, духота. Он хоть и мужик, — кругом брюхо, — а есть, пить все равно хочет. И иногородний не нынче-завтра скажет: «Твое — мое, дай сюда».

   — Дело не наше, сынок. Земля казачья и права казачьи, а мужиков будем гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью и воинским подвигом завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.

   — А с горцами как распорядишься, батяня?

   — Азиатцев загнать к черту, еще дальше в горы и трущобы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.

   — Тому, батяня, вовек не бывать. Все люди, все человеки…

   — Думай всяк про себя, всех не нажалеешься. Да что с тобой много растабаривать? Мы, коренные казаки, не спим, и дело уже делается, — многозначительно сказал старик.

   — Какое дело?

   — Тебе о том рано знать… Выпей с дорожки, сынок, разгони тоску. — И он подал налитый всрезь ковш вина.

   Иван надпил и передал ковш брату, а отцу сказал:

   — Нам надо жить так, как живет весь простой народ.

   — Ванька, не забывай бога и совесть, — зыкнул Михайла. — Когда говоришь с батьком — держи руки по швам и не моги рассуждать, что тебе мило, что не мило!..

   — Брательник, ты… — вступил в разговор расхрабревший от вина Дмитрий, — ты… еще молод, зелен и о многом в жизни не смыслишь… Папаша прав: Кубань — кубанцам, Дон — донцам, Терек — терцам. Ты, Ваня, не понимаешь всего величия и размаха казачьей души… Старые сказания, песни, славная история наших предков-запорожцев… Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки… На носу ставь, братцы, по пушечке». Ваня, не подумай, что я барин… Я, брат, в глубине души — сечевик. Смешно вспомнить: однажды я надел черкеску, папаху и так прошел по всему Невскому проспекту…

   — Гайда, сыны, в хату, — пригласил отец, — ужинать пора.

   И потекли размеренные дни.

   Михайла не доверял чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался он ни свет ни заря и шел по двору в первый обход: заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников, отдавал распоряжения по хозяйству.

   Бабы будто за делом забегали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.

   Дмитрия осаждали мужики.

   — Скажите вы мне, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Подняли мы с зятем Денисом под озимь тридцать десятин…

   — Знаю, знаю… Ты уже вчера рассказывал… Необходимо, дядя, сперва устроить всю Россию, потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, которое…

   — Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чоботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под крещенье к ним в амбар ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?

   — Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша Кубанская рада прикажут делить землю всем поровну — делать нечего, мы, казаки, подчинимся…

   — А ежели не прикажут?

   — Тогда видно будет.

   — Да чего ж тогда видеть? Все делается с мошенской целью…

   — С тобой, я вижу, не сговоришься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.

   Дмитрий с женой уходили в степь.

   Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:

   — Барин, барин, дай копейку…

   — Барыня, барыня, строганы голяшки…

   Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набирало силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полынком. Дмитрий тростью обивал почерневшие прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался:

   — Простор! Красота! Степь, степь… Она помнит звон половецких мечей и походы казацких рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами… Сколько забытых легенд и славных былей… Да, не раз казачество спасало Русь от кочевника и ляха, ныне спасает ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие…

   — Ну, нет, — целовала его Полина Сергеевна в щеку, — под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.

   Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем дому он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с Писаревой дочкой Маринкой и жаловался:

   — Скушно мне, Маринушка.

   — Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?

   — А не знаю.

   — Пойди до лекаря, он тебе порошков даст от скуки. — Она смеялась, ровно цветы сыпала. Прыгала круглая — кольцом — бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икряная была девка. — Эх ты, мерзлая картошка! Ни веселого взгляда от тебя, ни шутки. Поплясал бы пошел с молодежью, побесился.

   Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было не мило ему.

   — Воевать я привык, а у вас тут такая тишина…

   — Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвернулся, о другой думаешь. Ни письмеца мне с фронта не прислал. Коли не люба, скажи прямо, я сама не погонюсь.

   — Люба, — тянулся к ней Иван и со злостью щипал ее крепкую грудь.

   Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:

   — Не лапай, не купишь. Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли любишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов. — В темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе, поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала: — Все твое будет.

   — Ведьма!

   Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала.

   Иван брел ко двору.

   Дома его встречал отец:

   — Где шатался, непутевая головушка?

   — Собак гонял.

   — Не наводи на грех. Пьешь?

   — Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело…

   Старик оглаживал бороду и вздыхал:

   — Женить тебя, Ванька, надо.

   — Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.

   — Золотое твое слово, сынок… А чего ты, я приметил, беса тешишь — лба не крестишь? В церковь ни разу не сходил?

   Иван молчал.

   — У-у, супостат… И как тебя земля носит? В библии, в книге царств, о таком олухе, как ты, сказано…

   — Что мне библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.

   — Язык тебе вырвать с корнем за такие слова… Погоди, Ванька, господь-батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.

   — Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться?.. Как первый раз сходил я в атаку, так и отпал от веры. Первая атака… И сейчас кровь в глазах стоит! Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.

   — Как же вы, молодые, хотите, чтобы вам верили, когда сами ни во что не верите? И мы в походах бывали да страху божьего не теряли… Всему верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже: вера, сынок, неоценимое сокровище.

   На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему не смешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.

   Однажды Шалим привез на базар убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.

   Они отправились в шинок.

   — Рассказывай, кунак, как живешь?

   — Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Коровка сдох, матера сдох. Сакля старий, дожь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».

   Ивана корежило от смеха.

   Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышало молодой отвагой, движенья были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтовой шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шепот, мешая русскую речь с родными словами:

   — В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, — будем кишки резить! Янасына воллаги… На речка Шебша живет кабардинский князь богатий-богатий — будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся!

   Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных глазах… Слушал и не слушал Шалима, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору… Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взблески выстрелов, сверканье кинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой… Он схватил руку Шалима:

   — Ахирят!

   — Ходым?

   — Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука — скулы ломит. Надо уходить.

   Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку, с песней.

   Новые песни принесли с собой фронтовики. Измученные и обовшивевшие, они расползались по станицам и хуторам, и чуть ли не каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.

   Вернулся домой — без руки — Игнат Горленко. Вернулся убежавший из австрийского плена казак Васянин. Вернулся рыжий Бобырь. Вернулся — на костылях — Савка Курок. Вернулись братья Звенигородцевы. Приехал из Финляндии гвардеец Серега Остроухов. Приполз с отбитым задом старый пластун Прохор Сухобрус. Вернулся с прядями седых волос в чубе тот самый Григорий Шмарога, о котором жена уже другой год служила панихиды. Вернулся до пупа увешанный знаками отличия ветеран Лазурко. Вернулся дослужившийся до чина штабс-капитана агроном Куксевич. Вернулся с турецкого фронта Яков Блинов. И другие казаки и солдаты возвращались.

   Вернулся домой и Максим Кужель.

   Марфа — босая, с подоткнутым подолом, полы мыла — выбежала во двор и бросилась ему на шею. Сама плачет, сама смеется.

   Максим целовал ее и не мог нацеловаться.

   — Рада?

   — Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.

   Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:

   — Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки… А худющий-то какой стал, мослы торчат, хоть хомуты на тебя вешай.

   — Злое зло меня иссосало.

   В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.

   — Садись, Максимушка, поди настоялся на службе-то царской.

   Дверь скрипела на петлях — заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки.

   — С радостью тебя, Марфинька.

   И не одна украдкой смахивала слезу.

   — Моего-то там не видал? — спрашивали служивого.

   — Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.

   В чистой, с расстегнутым воротом, рубахе, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял — кто за что, с кем и как.

   Марфа с него глаз не спускала.

   — В станице власть ревкома или власть казачьего правления? — спросил Максим.

   — А не знаю, — улыбнулась Марфа, — говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.

   — Эх ты, голова с гущей, — засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.

   — У нас по-старому атаман атаманит, — сказал кум Микола. — В правлении у них до сей поры портрет государя висит.

   — Чего же народ глядит?

   — Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого…

   — Воскресу им не будет…

   — Бог не без милости, — согласился кум Микола и оглянулся на станичков. — Я так смекаю, мужики, ежели оно разобраться пристально, власть — она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?

   — Не робей, кум, не придется, — строго сказал Максим. — Али они сыны земли, а мы пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?

   — Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.

   — У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус Христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, ничего не боимся. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.

   Наконец гости провалились.

   Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:

   — Заждалась я тебя…

   — Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой, переело. — Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.

   Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.

   …Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о житье-бытье.

   — Жила, слезами сыта была… В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет — ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.

   — Не тужи, наживем другого.

   — Легко сказать: другого. — Она заплакала. — Такой поползень был шустрый да смышленый. Везде он лез, все хватал, цапал…

   На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:

   — Такие страхи пошли после извержения царя… Голову от дум разломило. Сперва все судачили — вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим — вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На крещенье вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятенье… С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава царице небесной, пронесло большевиков стороной.

   Сытый Максим пробурчал сквозь сон:

   — Дуреха ты нечесаная.

   — Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.

   — Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.

   — Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молок ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеву и заживем с полагоря…

   В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных ликах угодников. В покосившиеся окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы… Счастливый, уснул.

   Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:

   Большевики берут верх по всей России.

   На Дону война. На Украине война.

   В Новороссийске — советская власть.

   По Ставрополью народом поставлена советская власть.

   Казаки за народ. Казаки против народа.

   Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.

   В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.

   Ростов взят красными.

   В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц выбран кубанский областной ревком.

   Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепадал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.

   Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.

   У кузниц и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде— всюду, где сходились люди, — неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.

   Фронтовики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили — какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгали ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею — не вашего, мол, тут ума дело.

   — Я так думаю, надо самый зуб выдернуть — арестовать атамана! — говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.

   — Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана — казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие…

   — Дурак, — осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. — Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?

   — Вот Емельку, — смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. — За такой головой жить — не тужить.

   Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:

   — Брысь под лавку.

   — Он и свинье замесить не умеет.

   — Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял… Послушаешь — уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.

   — И Христос плотником был, — вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.

   — Быть того не могёт, — отмахнулся Сотниченко. — Какой там плотник? Может статься, был он подрядчиком или кем… Но чтоб плотником — руби голову, не поверю.

   Хохот пошел такой, будто, поленница дров развалилась.

   Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:

   — Я — природный казак. Два Георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет.

   Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула.

   — Во, во, братику, генеральская палка еще не дюже вам прискучила… Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах — и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-собором будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать — по шапке его, выбирай другого…

   — Господина Григорова просить будем, говорок.

   — Он и говорок, да смирный, а дело… — Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, — дело к войне, нам смирных не надо.

   Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики… Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенсне. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.

   Когда, наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрительный шепот:

   — Башка…

   — Это действительно… Говорит, как по книжке читает.

   — Господи, твоя воля, что-то с нами будет? — Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: — По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.

   Максим на него:

   — Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.

   — Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да — не балуй! — хвост короток.

   — Куда мне, я малограмотный… Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересует меня, что у нас получится?.. Ночей не сплю, думаю.

   Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:

   — Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу… А тут — адов смрад, хула, вертеп разбойников… Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас… Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли…

   Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствующие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?

   Максим долбил свое:

   — Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю…

   — Да, время не ждет, пора бы и делить.

   — А чего ее делить? — удивился рыжий Бобырь. — Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.

   — Грех между нами будет.

   — Старость придет, замолим.

   — Умно сказал: «свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ не мало — три сына, племяш, дед, зять да сам большой… Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.

   — А ты чужое не считай, мозги свихнешь… — сказал Бобырь. — Гони аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, паши, насколько сила взгребет.

   — Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.

   — Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.

   — Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.

   — И чего ты, Игнат, к нему присватываешься? — вступил в разговор инвалид Савка Курок. — Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.

   — Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.

   — Разувайся… Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.

   — Погавкай, собака хромая.

   — Это я — собака?

   — Нет, не ты, а твоя милость.

   Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:

   — Я ему голову отвинчу…

   — Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят…

   — Провались она в преисподню, эта самая война… Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение — жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.

   — Да, почудили на свой пай, — сказал гвардеец Серега Остроухов. — Не знаю — как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь, Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.

   — Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.

   — Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.

   — Горюшко-головушка.

   — До стены дошли, — говорит Максим, — стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?

   Мысль рождалась туго.

   Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.

   В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:

   — На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые! Из окна высовывалась голова хозяина:

   — Што такое?

   — Приехал…

   — Кого там принесло?

   — Его высокоблагородие полковник Бантыш, член Кубанской рады, изволили прибыть. На майдан сыпь наметом.

   Хозяин, не допив чая и отодвинув недоеденный кусок пирога, выскакивал из-за стола и командовал:

   — Баба, подавай полковую форму.

   И скоро, приодевшись по-праздничному и нацепив все боевые отличия, казаки уже поспешали к станичному правлению. Улицей и переулками торопливо шагали старики и солдаты-фронтовики. Сломя голову мчались ребятишки. Бежали не пропускавшие ни одного собрания солдатки. Ковылял, волоча перебитую ногу, инвалид Савка Курок и во всю рожу орал:

   — Какое там собрание? Все равно будет по-нашему. Вся сила в солдате! Казаки против народа не вытерпят.

   Площадь от краю до краю затоплена станичниками. Там и сям заядлые спорщики уже вступали в единоборство. И даже робким, что всегда на народе молчали, и тем не молчалось.

   Заика-пекарь Гололобов, подергивая контуженным плечом, шнырял по толпе и скороговоркой сыпал:

   — Шапку к-к-казачыо носить не м-м-моги. С возом едешь, с-с-сворачивай. Аренду з-за план гони, за па-пашню гони, за попас к-к-козы гони. Пожарную к-к-команду содержи, дороги, мосты б-б-б-б-блюди. В церкви стой у п-п-п-порога. Суд к-к-казачий, правление к-к-казачье, училище к-к-казачье. Тьфу, провались в т-т-т-т-т…

   — Тартарары, — подсказал учитель Григоров, и все рассмея лись.

   — С-с-сижу вчера у ворот, по-по-подходят Нестеренко и Мишка К-к-козел. «Купи, говорят, бутылку самогонки, а то з-з-з-зарежем». И ко мне с кинжалами. Ну, к-к-купил. П-п-провались в тар-тарары такая жизнь.

   — Всякая кокарда с двуглавым орлом будет над тобой измываться… Взял бы грязное метло…

   — О-б-б-обидно.

   — Не дают нам вверх глядеть.

   — Страдаешь за то, что живешь.

   В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.

   Сдержанные голоса и шепот:

   — Вот тож большевики, сукины дети, каждым словом по буржуям и генералам бьют.

   — Раз-раз — и в дамки.

   — Шпиены…

   — То, дядька, брехня.

   — Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу… Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет… Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?

   — Тише, Егор, не мешай слушать.

   На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:

   — Стой, солдат.

   Максим обернулся и стряхнул с плеча руку.

   — Стою, хоть дой.

   — Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?

   — А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?

   — Га-га-га, — загремели многие глотки.

   — Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.

   — Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом — требовать.

   Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков.

   — Чего вы, едрена-зелена, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке…

   — Не круто ли, дед, солишь?

   Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:

   — Послушайте, господа станишники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты, да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»

   — Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, — перебил его седоусый вахмистр Луговый. — «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана…» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали. — Грязной тряпицей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул. — У тебя посеву четыреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну… Из-под ногтей у меня пшеница растет. — Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. — Это ты можешь понять?

   — Тут и понимать нечего… Ты, Луговый, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.

   — Служба царская до богачества меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной оттрубил, а сыны тут до самой свадьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти. Каково это на старости лет?

   — Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь бессловесная, спасиба не скажет, а хвостом повиляет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла…

   Луговый еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел. Кто-то из стариков вздохнул.

   — Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснил: «Трусы, и мятежи, и кровопролитные брани… На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

   — Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.

   — Ох, эта ваша революция… Переобует она казаков из сапог в лапти.

   — Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда… Сто лет будем враждовать и не разберемся.

   — Неправда, — сказал Максим и снова развернул газету, — разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно…

   Шакунов покосился на газету:

   — Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он, немоченый, десять фунтов. — Он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.

   Гвардеец Серега Остроухов сверкнул глазами.

   — Ты, Леонтий Федорович, сперва отмой руки, после девятьсот пятого года… Твои руки в крови!..

   — Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.

   Остроухов схватил его за горло:

   — Зараз глотку перерву…

   Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна член Кубанской рады Бантыш.

   Площадь притихла.

   Бантыш снял папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:

   — Здорово, господа станичники!

   Толпа качнулась и недружно, вразнобой ответила:

   — Здравия желаем, ва-ва-ва…

   — Гляди, какой бравый!

   — Орел.

   — Он человек приезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать, — робко заметил Сухобрус.

   — Этот наговорит… — засмеялся казак Васянин. — Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускула правили.

   — Тише, вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам не тюха-митюха и не кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.

   Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:

   — Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все как один гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее же сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церквей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя и законы. Кубань сама себе барыня…

   — Так, так, справедливо… — трясли бородами старики, а в углах площади уже снова разгорались споры.

   Фронтовик Зырянов — глаза блестят, руками машет — кричал громко, ровно его окружали глухие:

   — Тут тебе земля дворянская, тут — монастырская, тут — войсковая, а где ж наша, мужичья?

   — Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.

   — Я четыре раза ранен…

   — Дураков и в церкви бьют.

   — По-моему, надо порешить нам, фронтовикам, общим голосом — разделить паи по всем живым душам, и греха больше не будет.

   — Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитем не равняй… Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.

   — И мы службой обязаны.

   — Погоди, кривой, дотявкаешься.

   — Не грози…

   — И другой глаз надо тебе выхлестнуть.

   — Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.

   — Не доживешь.

   — Доживу.

   — Не доживешь.

   — Доживу.

   Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.

   Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Чернояров, как того требовал обычай, отбрыкивался:

   — Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете, куда я вас поведу. Выбирайте коренного станичника.

   — Мы тебя знаем, и батька, и деда твоего знаем, послужи.

   — Не могу.

   — Послужи, Дмитрий Михайлович.

   А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:

   — …Мы не против рады, но с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтовики! Пора нам опамятоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навешивали на шею, тяжелее камней… Валили они нас царю под ноги…

   — Не к делу, не к делу…

   — Безотцовщина.

   — Геть, чертяка!

   — Остро говорит. Чей таков?

   — Ванька Чернояров.

   — Эге… Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.

   — …Старики, до кой поры вы нас будете уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали… Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

   — Геть!

   — Плетюганов ему!

   — Арестовать!

   — Ура! Вра-а-а…

   — Приступи! Хватай его!

   Над головами стариков заколыхался целый лес палок.

   Иван пал на седло гикнул и, сшибая конем неувертливых, прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль за ним завилась.

   Плескалась-звенела весна прибоем горячих дней.

   Степь отряхнулась от снегов и, выкатив тугие черные груди курганов, покорно ждала пахаря.

   Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи — песня, визги да девичий смех — были темным-темнешеньки.

   Станица поднялась.

   По размокшим дорогам заскрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загнув хвост, скакали собаки. Далеко разносилось заливистое ржание коней… Нет-нет да и переблеснет высветленный зуб бороны, носок лемеха, сбруйная бляха. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках рожицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов.

   — Цоб… Цоб, цобе.

   Максим нагнал пару чубарых волов.

   — Со степью, кум.

   — И вас также.

   — Хороший денек, кто вчера умер — пожалеет… Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?

   — Э-э, провались оно совсем… — Кум Микола пробормотал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.

   — А все-таки?

   Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, коня, оковку наново перетянутых шин и, покрякивая, туго, через силу заговорил:

   — Не придумаю, как оно и повернется… Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского. Да-а-а. Така панская земля жирная, что ее хоть на хлеб мажь да ешь… С осени посулили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин… Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось. — Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: — А вот тебе — ни пана, ни Мирошки. Пан, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дуропляса, на свой свечной завод прикащиком…

   — Ну?

   — Вот и ну… Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?

   — Полудурок… Нашел над чем голову ломать! Езжай и паши.

   — А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрянет? Ведь он меня не масленого, не вареного съест. Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет. Такой он, господь с ним…

   — С него уж поди-ка с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили…

   — Дай бы, господи.

   — И велика делянка?

   — Земли там уйма… Панской восемьсот десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай, не ленись.

   — Та-а-ак, дядя лапоть, — протянул Максим. — А я за греблю думаю удариться… В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит.

   — И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? — Кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: — Я тебе уважу, я такой человек, я для свояка хоть пополам, хоть надвое разорвусь…. Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня всё-таки пара волов, они, прокляты, тугящи… Гоняй со мной?.. Подымем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..

   Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся.

   — Что ж, кум, за мной дело не станет.

   — Ооо, и поедем… После рассчитаемся: ну, поставишь магарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я… Ээх, шагай, чубарые.

   Свернули на проселок.

   Нагая степь.

   По распаханным полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклевывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погонычей, неспешный шаг вола.

   …Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подъехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.

   — Вы чего? — спросил он.

   — А ничего…

   — Чью землю ковыряете?

   — Богову.

   — В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите… — Сам говорит, а глазами, как шильями, колет.

   — Господин любезный, мы за нее аренду платили.

   — Я тебе покажу аренду, бесова душа… Я с тебя, бугай, собью рога… Всю степь заставлю рылом перепахать.

   — А ну, заставь! — шагнул Максим навстречу.

   Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:

   — Поди прочь!

   — Легче!

   — Разнесу, косопузые! — и стегнул Максима плетью. Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку.

   Кум Микола бросился было бежать, голося:

   — Ратуйте, православные… За наше добро да нас же по соплям бьют.

   Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в клочья рубаху.

   Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.

   — Бей!

   — Злыдни!

   — Заплюем, засморкаем!

   Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:

   — Не покорюсь!.. Не покорюсь!

   Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.

   В станице митинг, и митинг снова кончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.

   На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками — у кого что нашлось.

 **[Черный погон](http://www.imwerden.info/belousenko/books/russian/veselyj_russia.htm%22%20%5Cl%20%22top)**

*В России революция, вся-то Расеюшка
огнем взялась да кровью подплыла.*

Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал пластом. Под головой – вещевой мешок с наганом и бельем, под боком – винтовка. Укрыт он был волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и – привитая армией иллюзия – куревом. Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Койка Кулагина стояла у окна. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу, потом откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его были вздуты, а обмороженные, мокнущие под бинтом ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем, ни ночью.

Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казачьи генералы договаривали последние речи. Вечерние улицы были полны офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В ресторанах гуляли денежные воротилы и столичная знать. Меж ними шныряли политические деляги. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены разогнанной Государственной думы, и разжалованные министры, и заправилы Временного правительства, и прославленные террористы, и сиятельные владыки разгромленных революцией департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после Октябрьского переворота, намереваясь отсидеться до поры до времени за казачьими пиками. Знатоки смрадных тайн охранки и провидцы чудес господних, умудренные в науках профессора и социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались грандиозные планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Тем временем не оправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам; с севера – в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом – накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины. На веселящийся город напускалась гроза грозная.

Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника. Старик, сменяя караулы, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.

Однажды рано поутру лазаретники были разбужены пушечной пальбой. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Заложив руку за борт потертого мундира, он раздельно и торжественно произнес:

– Господа, это самое, поздравляю.

Тяжелораненые перестали стонать. Сосед Николая Кулагина, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой.

– Свежие новости, господа… На таганрогском и черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Да, вдребезги. Захвачены в плен два полка противника в полном составе…

Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек и окружили вестника.

– Точны ли сведенья, господин полковник?

– Почему молчат газеты?

– Но… стрельба под самым городом?

– Экое дело стрельба, – хитро улыбнулся полковник. – Восстали, батенька мой, станицы нижних округов и пробиваются на соединение с нашими частями… По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе… Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. Да, не стану. – Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.

– Ага! – заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев. – А я что вчера говорил?

– Умерьте пыл, подпоручик, – угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин, – ликовать нам по меньшей мере преждевременно.

– Почему, позвольте узнать?

– Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна…

Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с жаром принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус, и лишь изредка ввертывал краткие, полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.

За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты – пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надушенный корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик – убежденный эсер. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщичье самолюбие, корнет развлекался. За неделю беспрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону.

Поплавский, редко расставляя слова, брезгливо говорил:

– Наша революция глубоко национальна хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом… Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но – момент был упущен.

– Кем упущен? – спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.

– Вами, разумеется… Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий негодяй, прикрываясь демагогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество, когда…

– Поверьте, господа, оздоровление близко, – обращался прапорщик ко всей палате. – Даю честное слово. Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю – непременно, откачнутся от большевиков… И, наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества – самоотверженную русскую интеллигенцию.

– Ох, уж эти мне ваши интеллигенты, прапорщик, – ввязался в разговор ротмистр, – мало я их вешал.

– То есть, позвольте, как это вешал?

– Очень просто, сударь, за шею веревкой. – Ротмистр скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. – Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще они пресмыкались перед престолом и в два горла жрали куски правительственного пирога, вчера еще… – махнул рукой и досказал:– Плохой у нас был император или хороший – история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.

– Извините, – сказал прапорщик, – это вопрос глубоко принципиальный. Всенародное Учредительное собрание…

– Очень хорошо, – перебил его ротмистр, – миллионы своих голосов вы подали за Учредительное собрание? Оно разогнано, черт побери! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевицкое иго, еще более мрачное, чем татарщина? Грош цена и вам и принципам вашим. Вы – пыль!

– Странные, однако, у вас понятия, честное слово…

– Все надоело, – зевнул Поплавский, – продолжать войну немыслимо. Россию может спасти чудо или хороший кнут. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов… Взять, к примеру, моего отца, – оживляясь, заговорил корнет. – Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не интересовало старика… Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо. Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали…

Усатый гимназист Патрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:

– Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы – это радость и наслаждение богов и людей».

– Совершенно верно, – повернулся к гимназисту Поплавский и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, продолжал рассказывать о том, как мужики вырубили парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца. – Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля, как во времена Пугачева и Разина, способны унять разыгравшиеся страсти черни. Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно… Да-с, кто угодно.

– О нет, – подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем, – русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии.. Кайзер заставит нас чистить ему сапоги, честное слово… Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!

– Чушь, – ответил корнет, – России нужна, в крайнем случае, конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к черту огнем и мечом.

– Ах, так? Вы – русский офицер… Стыдитесь!

– Хватит. Надоело. – Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.

Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанища. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старые, где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.

С кем был Николай Кулагин?

Ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли, высказанные Сагайдаровым, казались Николаю здравыми, но он не мог перебороть в себе неприязнь к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали наглый тон и беспринципность Поплавского. Николай вообще недолюбливал штабных ловчил. Разве можно было забыть Могилев… Пятнадцатый год, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные трупами… Лучшие кадровые корпуса гибнут в августовских лесах, под напором врага фронт трещит… С остатком полка он пробирается в тыл на переформирование и в Могилеве впервые видит офицеров большого штаба, затянутых в корсеты, накрашенных и завитых. И сейчас, глядя на холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с теми могилевскими фазанами. Николай Кулагин, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике. Мысль о необходимости страшной войны, выводившей Россию на блистательный путь могущества, казалась бесспорной. Революция опрокинула если не все, то многие понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки он вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и возрастающего озлобления. Вколоченная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир не узнавал своего полка. После неудачи июньского наступления армия начала распыляться. Николай бежит в тыл и по дороге пристает к корпусу генерала Крымова, который продвигался на Петроград свергать Временное правительство. Но скоро, по ходу дела, корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали… на защиту Временного правительства от большевиков. Дни, прожитые в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы. Буря – с грозой и ливнем! – разворачивалась вовсю. Кулагин участвует в обороне Владимирского юнкерского училища, потом мчится в Москву на защиту Кремля и после поражения с пушечным гулом в ушах скатывается на Дон…

– Черт побери, – сияя глазами, говорит шестнадцатилетний кадет Юрий Чернявский, – как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может окончиться… Господин капитан, – обращается он к Кулагину, – как, по-вашему, пасху встречать будем дома?

– Да, да, Юрик, разговляться будем дома… Куличи пойдем святить, яиц крашеных нам с тобою надарят.

– Каникулы… – мечтательно промолвил кадет, перебирая в памяти былые радости, – на каникулы я уезжал к тете в Смоленскую губернию… Там такие чудесные леса… Старший брат два раза водил меня с собой на охоту.

– У тебя и брат есть?

– Был брат… В Киеве убили.

Санитары внесли в палату и уложили на свободную койку молодого добровольца с университетским значком на гимнастерке. Его мгновенно обступили.

– Откуда? Какой части? Не знаете ли случайно, где стоит второй батальон?

– Я – чернецовец, – через силу ответил прибывший, – наш отряд разгромлен, командир зарублен, все гибнет.

– А казаки?

– Слухи… Вздорные слухи.

– Слухи распространяют бабы и мерзавцы, – вполголоса, чтобы не слышал раненый, сказал Поплавскому Топтыгин. – Стрелять их всех поголовно, вешать, не жалея веревок.

– Нет, не слухи, – с трудом проговорил чернецовец, – красные наступают… Кутеповым оставлен Матвеев курган… Забастовщики захватили Таганрог… Части генерала Черепова и Корниловский полк отходят от Синявской и не нынче-завтра будут в городе… Потери огромны… Лучшие гибнут, сволочь дезертирует… – Он закашлялся, схватился за грудь и выхаркнул шматок загустевшей черной крови.

– Если это правда, – волнуясь, сказал Поплавский, – то единственный выход: забаррикадировать двери, окна и защищаться до последней возможности.

Ему никто не ответил.

«Гибель? Отступление? – стремительно летела мысль Кулагина. – Куда отступать? Успеют вывезти или в спешке забудут? Гибель? Конец? Плен? Нет, лучше своя пуля из своего нагана!»

Ночью опять слышалась орудийная пальба. По темным улицам, тревожно завывая, мыкались храпящие автомобили, и, точно пересмеиваясь, цокали о камни мостовой подковы. Убежал из лазарета гимназист Патрикеев. Убежал Поплавский. К утру, выкрикивая в бреду имя сестры, любовницы или невесты, умер чернецовец. Заспанные санитары уволокли его закоченевшее тело. Над пустой койкой на гвозде осталась забытая папаха.

За мутным стеклом светлело небо.

Николай подтянулся на локтях к окну. Восходящее солнце розовым холодным светом касалось церковных куполов и мотавшихся на ветру голых, точно судорогой сведенных, ветвей одинокой березы. Неожиданно из-за угла вывернулся отряд. Кулагин сразу узнал своих корниловцев. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Их было так мало, что у него сжалось сердце. «Господи, неужели это все, что осталось от полка?» Он выбил кулаком стекло и высунулся наружу.

– Казик! Володя!

Головы вскинулись, его узнали и замахали рукавичками, шапками.

Через минуту в палату вбежали двое – румяный Володя и закадычный друг Николая Казимир Костенецкий, с которым судьба свела его еще на германском фронте. Оба расцеловались с Николаем, и, повернувшись ко всем, Казимир крикнул:

– Господа, прошу не волноваться. Сложившаяся обстановка… – Он смешался. – Словом – драпаем. Город сдаем… Вы… вас… Кто может ходить – заберем с собой, остальные будут размещены в городе по надежным квартирам.

Молчание, растерянные лица…

– Но куда, куда отступать?

– Здоровые всем были нужны, а теперь…

– Даете ли слово, поручик?

Казимир, четко рубя слова, сказал:

– Да. Если о вас забудет начальство, то мы сами сделаем все, что нужно. Даю слово русского офицера! – Он торжественно принял под козырек.

Оба откланялись и поспешно вышли.

Тяжелобольные заметались и застонали. Ротмистр, сопя, затягивал ремни огромного чемодана. Иные рылись в мешках и переодевались по-дорожному; иные, сбившись у окон, обсуждали ход военных действий. Сагайдаров критиковал тактику командования, порицал политику донского правительства и все надежды возлагал на близкое отрезвление крестьянства.

– Будь вы, прапорщик, на месте командующего, мы не сомневаемся, что все сложилось бы иначе, – съязвил Топтыгин и, ухватившись за бока, злобно захохотал.

Кулагина била нервная дрожь… «Уши, черт с ними, но вот ноги, ноги, подведут или нет? Неужели нельзя будет притвориться выздоравливающим? Уж если и умереть, так в походе, в кругу друзей».

Кадет, с головой закрывшись одеялом, плакал. Около него суетились.

– Юрка, как тебе не стыдно? Ну, голубчик, успокойся… Разве ж мы тебя бросим? Скоро пригонят подводы…

Кто-то поднес кадету разбавленного спирту. После недолгого колебания он залпом опорожнил кружку, задохнулся, закашлялся и, отерев шинельным рукавом мокрое от слез лицо, понемногу успокоился.

Стрельба в городе усиливалась.

Николай поднялся… Суставы ног разнимало ломотою, в самых костях мозг и тот мозжил. Превозмогая боль, как на рассохах, он прошел по палате, потом пристроился на койку и занялся перевязкой. Сагайдаров посоветовал присыпать мокнущее мясо сахарным песком, что способствовало, по его уверениям, быстрейшему наращению новой шкуры. Корниловец, сцепив зубы, сорвал с лоскутками кожи заскорузлые бинты, развязал вещевой мешок, выбрал из белья что поветше и, надрав длинных лент, накрепко обмотал ноги.

Многие уже оделись и сидели на мешках с винтовками в руках.

В дверях, с узелком в руке, появился запыхавшийся полковник.

– Господа, это самое, пора… Пора.

Все засуетились.

У подъезда мобилизованные извозчики ругались с конвойными. Робеющие гимназистки жались поближе к дверям, держа перед собой, как свечки, букетики первых ландышей и фиалок. На ступенях сидела, приложив к глазам платок, и ждала кого-то старушка – кружевная косынка ее съехала на сторону, седая голова сотрясалась от рыданий.

Зарывшись на возу в солому, убаюканный скрипом колес, Кулагин проспал весь ночной переезд и не слышал ни стрельбы, ни взрывов бомб, сбрасываемых с большевистского аэроплана. Разбудил его собачий брех. Обоз втягивался в станицу Ольгинскую. В глаза прянуло солнце. Унавоженные дороги еще крепко лежали в снегах, хотя колдобины уже были налиты, точно жидким пламенем, ростепельной водой. С крыш разорванной серебряной ниткой сверкала частая капель. Сосульки блестели под солнцем, как штыки. Отовсюду сочилась и дышала благодатью доблестная весна.

Воз свернул во двор.

В воротах, встречая гостей, стоял навытяжку одетый в парадную форму пожилой казак.

– Здравия желаем, ваш бродь! – увидев офицерские погоны, гаркнул он.

Позади хозяина, на дистанции в три шага, стояли в ряд и кланялись бабы.

В чистой, по-городскому обставленной хате грудастая, принаряженная казачка угощала офицеров варениками. Хозяин из почтенья к гостям стоял у порога. Для порядка он покрикивал на бабу и, перехватывая из руки в руку шапку, выспрашивал, кто такие кадеты, за кого они воюют и куда изволят отступать. Ротмистр Топтыгин, упирая больше на попущение господне, терпеливо разъяснял казаку политические премудрости. Растолковав вкратце программу какой-нибудь партии, он добавлял, как припев к песне: «Вешать супостатов, вешать, не жалея веревок!»

Кулагин побрился, умылся снеговой водой и, держась за стены, вышел на крыльцо.

Широкая улица и площадь были заставлены войсками. Щегольской сапог месил слякоть рядом с опорком. Чубатые донские партизаны топтались вперемешку с оборванными офицерами. Возмужавшие в походах гимназисты выпячивали грудь и с полным сознанием превосходства косили глаза в сторону очкастых, сутулящихся студентов. Недостающие носами до штыков кадеты досрочных выпусков подтягивались и соперничали выправкой со старшими. Щебечущие ласточки гроздьями обвешивали телеграфную проволоку. Перегоняемые с места на место люди в лад отбивали ногу и размахивали руками.

Через дорогу, подобрав полы, перебежал Казимир.

– Здравствуй, Коля. Увидел тебя и на минутку, с разрешенья взводного, отлучился из строя. Ну, что у тебя? Мы с Володькой утром искали-искали тебя… Сыт?

– Напоен, накормлен и обласкан… Греюсь вот на солнышке и… почти улыбаюсь… Казик, раздобудь-ка мне костыли… Ноги маячить начинают. Через неделю думаю вернуться в строй.

– Браво.

– Когда выступаем?

– Как будто завтра. В штабе уже решено пустить авангардом марковцев и арьергардом нас. Закупаем продукты и строевых лошадей. Канальи казаки дерут за своих кляч втридорога, и, ничего не поделаешь, приходится платить. Командование, чтобы не ссориться со станичниками, строжайше запретило реквизиции. Тяжелая, но совершенно необходимая мера. Будем надеяться, что через этот камень большевики споткнутся и восстановят против себя и казаков и крестьян.

– Велика ли у нас армия? – спросил Кулагин.

– Свыше четырех тысяч штыков и сабель. Пехота сведена в полки – Корниловский, Марковский и Партизанский. В особые единицы выделены инженерный батальон, морская рота и мелкие отряды, ультимативно заявившие о своей… автономности.

– Вот как?

– К несчастью, – продолжал Казимир, – игра мелких самолюбий в полном разгаре. Зараза самостийности проникла и в наши ряды. Откуда что берется. Подумай только: юнкера и студенты противились объединению и едва не перепороли друг друга штыками… Юнкера ругают студентов социалистами, а студенты юнкеров – монархистами. Те и другие домогались иметь своего начальника, свой отдел снабжения, свой обоз, и, наконец, каждый из юнцов не прочь прикомандировать к себе по милосердной сестричке, которых и так мало. Нам самим ухаживать не за кем.

– Скажи, есть интересные?

– О-о. Я познакомился с одной толстушкой, так это, доложу я тебе, штучка. Правда, она не красавица, но…

– Погонять с недельку на корде – станет красавицей?

– Кроме шуток, замечательная девушка… Ручки, ножки, щечки и через каждые два-три слова носом шмыгает.

– Ха-ха-ха… Познакомишь?

– С удовольствием. Сегодня же приглашу сделать тебе перевязку. Да, так вот я и говорю, каковы негодяи… Социалисты, монархисты… Нашли время политикой заниматься… Нам нужно бить по врагу кулаком, а не растопыренными пальцами.

– Пустяки, какие они политики, в походе сживутся.

– Возмутителен самый факт. Извольте видеть, митинг открыли.

– Гражданская война, – задумчиво сказал Кулагин, – вообще полна нелепостей и чудес. У красных сапожники командуют армиями, а у нас на взводах стоят полковники и генералы. Лавр Георгиевич перед строем произнес блестящую речь. «Нас разбили на Дону, – сказал он, – но игра еще не проиграна. Большевики съедят сами себя. Нам необходимо продержаться до наступления отрезвления, и Россия еще услышит о наших делах». Ну, я, кажется, заболтался с тобой, побегу. – Он подвернул полы шинели и по сверкающим лужам зашагал к своей роте.

Кулагин написал в Петроград письмо:

«Здравствуй, Ириночка!

Сижу на резном крылечке, жмурюсь на солнце, мечтаю о тебе и о маме. Тоска косматой лапой сжимает сердце… Какая злая сила исковеркала жизнь и разметала нас?

На фронте я обморозился, больше двух недель провалялся в лазарете, теперь раздышался и вернулся в полк. Пишу из станицы из-под Ростова, пользуясь случаем – в Москву и Питер едет специальный курьер.

Ириночка, буду с тобой откровенен… Наши дела неважны. Седой Дон, тихий Дон, чтобы его черт побрал! На Дону мы, русские офицеры, всю зиму отбивались от солдатни и матросов, защищали самостоятельность края и пытались не допустить его разорения, а само казачество, за малым исключением, проявило ко всей кутерьме величайшее равнодушие.

Уходим за Дон, в степи… Щади маму, она ничего не должна знать. Милая мамочка… На ее глазах, должно быть, не высыхают слезы… В своей полутемной комнатке перед старыми иконами она вымаливает мне жизнь… Поймете ли и простите ли вы меня за все причиняемые вам страдания? Вся Россия несет возложенный на нее судьбою крест. Пятый год воюем. Под каждой крышей – горе, и почти в каждой русской семье – покойник. Со мною в лазарете лежал раненый кадет, еще совсем мальчик. Большевики убили у него брата и отца. Мужество, с которым этот юноша переносит свое страшное горе, растрогало меня до глубины души. Сколько их, еще совсем детей, погибло с нами в донских степях, сколько затоптано безвестных могил… Ты подумай, Ириночка, как прекрасно сказал генерал Алексеев в Новочеркасске на похоронах кадет: «Я поставил бы им памятник – разоренное орлиное гнездо и в нем трупы птенцов – на памятнике написал бы: «Орлята умерли, защищая родное гнездо, где же были орлы?»

Уходим в неведомое… Мы одиноки… Каково наше политическое credo? Никто ни черта не понимает, и все обозлены. Много наших офицеров служит в украинских национальных частях, уже тем самым поддерживая нелепую и дикую самостийность. Или чего стоит Кубань, куда мы, вероятнее всего, пойдем? В Екатеринодаре главные силы штабс-капитана Покровского составляет русское офицерство. Сам же Покровский потворствует низменным проискам рады.

Все, чем жив человек, растоптано и заплевано… Россия представляется мне горящим ярмарочным балаганом или, вернее, объятым пламенем сумасшедшим домом, в котором вопли гибнущих смешиваются с диким свистом и безумным хохотом бесноватых. Повторяю, никто ничего не понимает. Мы не политики, а всего-навсего лишь сыны своего отечества и солдаты черного лихолетья… Жизнь, видимо, заставит разобраться кое в чем, но учиться придется уже под огнем. Мы одиноки… Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет твердость сердец наших.

Верим в помощь старого доброго боженьки и в светлый ум вождей.

Целую и обнимаю *Николай*.

10 февраля 1918».

Первые сто верст армия покрыла в неделю. Быстрейшему продвижению мешала распутица и большой обоз с беженцами и ранеными. Вымотанные лошади утопали в грязи по брюхо. Телеги и брички плыли по жиже, как лодки. Люди, расстроив всякий порядок, брели молча. Слышались только устрашающие крики ездовых и свист кнутов. Кадеты и гимназисты гнулись под тяжестью винтовок, но старались не выказывать друг перед другом утомления. Престарелые полковники шагали в строю, бодро разгребая ногами грязь. Молодая женщина, потеряв в чавкающей грязи туфли и высоко подобрав юбки, шла в одних чулках. Раскрасневшееся лицо ее было заплакано, растрепанные светлые волосы падали на глаза. В высоком фаэтоне ехал с сыном седой генерал Алексеев, еще недавно управлявший судьбами пятнадцатимиллионной русской армии. Форменная фуражка его была нахлобучена по самые уши, из-под захватанного козырька строго поблескивали очки, от резких толчков на иссохшей старческой шее моталась голова. Обочиной дороги, подбадривая войска, проносился на кабардинском скакуне Корнилов. Калмыковатое лицо его было сурово. Повелительный с хрипотцой голос и приветствия выкрикивал как приказания. Вскинутую голову крыла текинская черная папаха. Одет он был в заношенный нагольный полушубок. На командующего устремлялись восторженные глаза, и вослед ему гремело надсадное «ура».

Красные уклонялись от решительного боя, пятились.

В Ставрополье, под селом Лежанкой, произошло первое крупное столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и семнадцать раненых, ворвались в село, где и расказнили до шестисот человек. Расправу чинили все желающие. Казаки сводили с мужиками свои счеты. Офицеры мстили за поруганное звание, честь мундира и за анархию, бессильными свидетелями которой они являлись уже целый год. Разгоряченные боем юноши были уверены, что, расстреливая и вешая людей в кожухах и солдатских шинелях, они спасают родину. Одним хотелось испробовать действие новеньких, еще не пристрелянных винтовок; другие на поставленных на колени жертвах практиковались в рубке; побывавшие в донских степях были рады легкости победы – будет что порассказать.

Кулагин в сражении не участвовал. Костыли он бросил, но ходил еще плохо. На квартире за ужином Казимир с восторгом рассказывал о подробностях боя – кто где наступал, какие части отличились, кто и к каким представлен наградам. Внимательно слушая его, Кулагин невольно выпалил:

– Какая гадость…

Офицер замолк на полуслове и с удивлением посмотрел на друга.

– Казнить, – продолжал Кулагин, – такую массу пленных, к тому же еще они и русские. Неужели невозможно было ограничиться расстрелом главарей, агитаторов или, наконец, каждого десятого?

– Черта с два. Попробуй разберись, кто у них начальник и кто подчиненный. Босая команда какая-то. Сегодня он кашевар, а завтра командир. Для верности мы их и стреляли подряд, как вальдшнепов.

– Знаете, господа, – боясь, что его не будут слушать, торопливо заговорил Сагайдаров, – у них фронтом командует бывший казачий фельдшер Сорокин, честное слово. Каково? Или вчера под Егорлыкской захвачен комиссар, оказавшийся самым настоящим каторжником, честное слово.

– Не в каторжниках дело, прапорщик, – оборвал его Кулагин, – вы городите вздор.

Поднялся захмелевший румяный Володя и, улыбаясь, потянулся чокаться:

– Перестань, Коля, сентиментальничать и не горячись попусту… К бабе на рога всю философию… Будем уничтожать хамов. Они мешают нам жить, любить и веселиться… Меня, например, в Саратове невеста дожидается…Ну, и должен же кто-нибудь спасать Россию? Время слов минуло, настала пора великих дел. Выпьем за поэзию и за мою невесту. Это такая, доложу вам девочка…

– Я понимаю, – волнуясь, проговорил Кулагин, – но нужно ни капельки не любить страну, чтобы клеймить весь народ клеймом каторжника.

– Понимаешь, а канючишь, – сердито отозвался Казимир. – Что ж, прикажешь их с собой возить или, выпоров, отпустить, чтоб завтра опять с ними встретиться? Ты забыл о самосудах, чинимых над офицерами? Забыл об издевательствах, которые каждому из нас приходилось переносить на фронте? А наши близкие, оставшиеся в России? Разве комиссары будут с ними церемониться? Попадись мы с тобой к ним в лапы, думаешь, они пощадят нас? Ты забыл станицу Каменскую, где матросы предали наших разведчиков лютой и ужасной казни? Пощады нет, мы идем ва-банк.

– Ну, а что же командование? – спросил Кулагин.

– Командование сделало вид, что ничего не замечает.

– Да, – энергично сказал Казимир, наполняя рюмки коньяком, – Россия гибнет. Мы – единственный оплот рухнувшей государственности, мы – совесть нации. Народ воспринял революцию, как захват чужого добра. Буржуазия дрожит за свою шкуру – не дико ли? В Ростове именитые мужи купечества и промышленности пожертвовали на нашу армию гроши, а на смену нам пришли большевики и наверняка загребли их миллионы. Социалисты, вроде нашего прапорщика, травят нас, как врагов народа. Казаки косятся… Мы в полном одиночестве. Нас горсточка. Нам ли проповедовать гуманность и щадить поставленного на колени врага? Нет и нет… Верхушка дворянства и буржуазии своей преступной бездеятельностью предала Корнилова во время августовского выступления. Верным России осталось лишь кадровое офицерство. На нас история ставит главную ставку. И потом, – он повернулся в угол, где сидели, навострив уши, кадеты, – эта молодежь. Ее нужно воспитать в нашем духе. Они закалятся в боях и пойдут с нами до конечной цели. Выпьемте, господа офицеры, за торжество нашего правого дела, за молодежь и, пожалуй, за твою, Володя, невесту!

Ужин продолжался.

Кулагин вышел. Весенняя ночь была полна сияющих звезд. Сладко пахло прелым навозом. В саду на голых деревьях табором располагались на ночлег грачи. Над селом стлалась тревожная тишина, нарушаемая сонным мычанием коровы, раскатом одинокого выстрела или глухим, словно из-под земли рвущимся, рыданием солдатки, оплакивающей мужа.

У ворот на бревне, опираясь подбородком на палку и точно окаменев, сидел дядек. Кулагин в молчании выкурил папиросу, другую и наконец спросил:

– Ты казак или иногородний?

– Я-то?.. Я в работниках тут околачиваюсь. – Он поскреб поясницу, помялся и вздохнул:– Та-ак… Значит, за царя воюете?

Застигнутый врасплох, офицер не знал, что ответить. С образом государя неразрывно было связано понятие о величии отечества, но монархистом он, как и большинство неаристократического офицерства, никогда не был. Слабый царь, загнавший страну в тупик поражений, голода и анархии, с некоторых пор начал в глазах офицерства еще более терять свое обаяние.

– Нет, не за царя, – твердо ответил Кулагин.

– А чего у вас порядки старые? Все, извиняюсь, при погонах и под флагом царским ходите?

– Старое знамя дорого нам, как символ единой мощной России, – заученно ответил офицер и, подумав, добавил: – Старое знамя дорого нам, как материнское благословение, как имя, данное при крещении… Тебе понятно?

– Очень даже понятно, – буркнул мужик и, вздохнув, нерешительно спросил: – Наши хуторские именьишка тут неподалеку растащили и землишку бросовую запахали. Судом теперь судить их будете или прямо пороть и вешать?

– А большевики вас не пороли и не вешали?

– Пока бог миловал. Они больше насчет митингов любители. Правда, расстреляли тут одного баринка, так то ж была собака, всю волость долгами оплел.

– Придут вот немцы и заберут нас совсем: с землею, со вшами, с лаптями. Тогда узнаем, где раки зимуют.

– Всю Расею не заберут… Расея, она обротать себя не даст… Я, ваше благородие, смолоду тыщу городов прошел, деревень – несчетно, народов сколько перевидал, и кругом тебе, не обессудь на моем глупом слове, один пашет, а семеро ему шею гложут. Нынче, ваше благородие, не только немец, сам велезевул со всем его воинством из-под нас землю не выдерет, мы в нее по бороду вросли. Придут немцы – возврату им не будет, по одному передушим.

– У тебя у самого-то ведь никакой земли нет?

– Дадут, – убежденно сказал мужик, – позавчера на митинге общество постановило вырезать всем неимущим полный надел… Я тут на хуторе и вдову себе высмотрел… Пожили по старинке – почудили, нынче хочется пожить по новинке. Может, еще чуднее будет, а все-таки хочется, и никаким немцам хомут надеть на себя не дадим. – Он помолчал и вздохнул. – Ваш генерал перед сходом высказывал: «Воюем, мол, за веру, за отечество, за счастье». Какое там счастье, простой народ бьете, вон висят…

На площади в неверном лунном свете, подобны бледным теням, серели повешенные.

Проговорили за полночь. Кулагин чувствовал себя перед мужиком в чем-то виноватым, но не хотел даже сам себе в этом сознаться и ушел, томимый тоской.

В хате было душно. На печи возилась и стонала старуха. В лунном луче, падающем в маленькое слуховое оконце, ее плачущие глаза вспыхивали зеленым огнем. При ней во дворе были расстреляны два ее сына-солдата. Снох не было дома, они разыскивали за селом на навозных кучах тела мужей. Офицера пугал шепот старухи. «Что она, молится или проклинает?»

Забрезжил рассвет.

На улице горнист заиграл зорю.

Армия втянулась в поход.

О России и об идеях говорили только штабные да обозники. Строевики были целиком заняты мелочами боевой страды – кто пойдет в голове, кто в хвосте; когда и где удастся отдохнуть и выстирать белье; будет ли на привале горячая пища; по скольку выдадут патронов? Самые дошлые умудрялись заводить на коротких стоянках романы с беженками и молодицами.

Николай Кулагин уже командовал взводом.

Корниловский полк был молод и хотя историю свою вел с империалистической войны, но по-настоящему сформировался только на Дону под большевистским огнем: выведенный с западного фронта кадровый состав полка почти целиком погиб и рассеялся при переходе через Украину и в боях за Ростов и Новочеркасск. Ставленник и любимец Корнилова, молодой полковник Неженцев за короткое время сумел подобрать образцовых командиров, при содействии которых полк и был сколочен в железный кулак. Всем от мала до велика было внушено, что Корниловский полк – лучший полк. В этом духе воспитывались и пополнения. Новичок за какую-нибудь неделю службы настолько сживался со «стариками», что его невозможно было сманить в другую часть даже обещанием повышения в чине. В армии был привит и всеми мерами раздувался дух соперничества. 1-й Офицерский полк с завистью следил за молодецкими действиями юнкеров, студенты соревновались в ратных доблестях с гимназистами, марковцы упорно оспаривали первенство у корниловцев. За выполнением каждой боевой задачи следили не только прямые начальники, но и все добровольные соискатели славы: сохрани бог, если дружный хор этих строгих критиков уличал кого в том, что они «петрушку показывают». Корниловскому полку на выучку было придано несколько юнцов. Во взвод Кулагина попал расторопный гимназист Щеглов и оправившийся после ранения кадет Юрий Чернявский, который особенно привязался к своему командиру и не отходил от него ни на шаг. Он перенял от офицера манеру носить фуражку, щурить глаз на дым папиросы, старался подражать ему в походке и разговоре; на досуге, с налетцем удальства, он посвящал взводного в свои сердечные дела; без конца мог слушать рассказы о подвигах и геройстве.

– Николай Александрович, – спрашивал кадет, – возможно ли так отличиться, чтоб сразу получить георгин всех степеней?

– А тебе очень хочется отличиться?

– О, да.

– Какой же подвиг совершить ты намерен?

– Не знаю… Ну, я могу первым броситься на штурм большевицкой крепости или, если представится случай – клянусь! – взорву целый поезд с комиссарами.

Кулагин смеялся и рассказывал об уставе наград. Он любил болтать с кадетом, потому что видел в нем себя в более счастливую пору жизни.

Чернявский хмурился.

– Мало в нашем походе героического… Грязная работа, вши, у меня ноги посбились до мослов… Я не такою представлял войну.

Он говорил правду.

В походе было мало разнообразия… Серая степь, курганы, по горизонту маячили охранительные разъезды. Потом – стрельба, в частях движение, в обозе паника. Навстречу колоннам, пришпоривая коней, мчалась разведка, к свите командующего подлетал конник.

– Ваше превосходительство… Станица… Два полка противника… Легкая батарея…

Сумрачный Корнилов, не поднимая глаз, резко перебивал:

– Выбить.

Скакали ординарцы. Командиры, откозыряв, бежали строить полки для атаки.

Станица встречала победителей хлебом-солью и колокольным звоном. Бабы разводили по хатам и отпаивали молоком людей. На площади Корнилов или Алексеев говорили станичникам краткую речь, после чего тут же, перед общим сбором, бородатые казаки пороли провинившихся сыновей и внуков, потом наскоро, под музыку, хоронили своих убитых и, переночевав, выступали.

Опять степь, курганы.

– Ваше превосходительство, впереди станица, справа хутор, замечено скопление большевиков…

– Выбить.

Прямая цель была близка. До Екатеринодара оставалось не больше четырех переходов. К начальствующему над войсками Кубанской рады штабс-капитану Покровскому были посланы разведчики с приказом командующего: «Держать город!»

Под станицей Кореновской движение неожиданно затормозилось. Красное командование выставило на защиту подступов к городу отборные отряды фронтовиков и горящую отвагой молодежь.

Бой загрохотал с утра.

Фронт развернулся от станицы на обе стороны. Пальба сливалась в сплошной гул, не слышно было даже криков команды. Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пламя. В строю никто не сознавал беспрерывности огневой линии – человек ловил на мушку человека, рота выглядывала перед собой роту противника и, сосредоточив на ней все внимание, стремилась с предельной скоростью уничтожить ее. Корниловцы двигались цепями вдоль полотна железной дороги, имея справа от себя юнкеров и слева – офицерский Марковский полк. Марковцы, пользуясь неровностями поля, дружно наступали, заламывая фланг красных. Казалось, еще момент и – решительный удар во фланг, выход в тыл красным… Бронепоезда вовремя заметили опасность и перекинули на офицеров ураганный огонь. Марковский и Корниловский полки дрогнули, начали пятиться… Тогда на бугре показался, четко вырисовываясь на фоне синего неба, командующий, окруженный штабными генералами и конвоем текинцев. Офицеры быстро оправились и в рост, не сгибаясь, пошли вперед.

Стреляя беспрерывно, цепи сблизились шагов на сто и залегли. Бронепоезда вынуждены были прекратить огонь. Кулагин со взводом лежал в передовой цепи. Вдавив грудь в землю и спрятав голову за кочку, он вдыхал горячий приторный запах полыни. Встречный пулемет широким веером сыпал на сухую землю крепкий град: глаза запорашивало пылью, за отторбученный ворот гимнастерки брызгал песок, точно кто стоял впереди и поплевывал колючими плевками. Бок о бок со взводным лежал кадет и немного подальше – Казимир. Низко, как тень, промелькнул – или Кулагину показалось, что промелькнул, – снаряд: вихрем взметнуло волосы на голове; он догадался, что фуражка потеряна. По цепи передавали – такой-то ранен, такой-то убит. Охнул Казимир. Кулагин, не поднимая головы, скосил глаза в его сторону и увидел, как тонкие слабеющие пальцы распрямились на прикладе.

– Убит?

– Нет… В плечо, – еле слышно ответил, пошевелив побелевшими губами, Казимир и выругался.

От перебежек и волнения люди задыхались, а потому, когда была подана команда: «Приготовсь к атаке…»

И с другой стороны: «Цепь, вперед…» – цепи поднялись молча, в один и тот же миг.

Стрельба захлебнулась.

С винтовками наперевес, на ходу подравниваясь для удара, цепи сближались в холодном блеске штыков. Кулагин видел перед собою солдат в распахнутых шинелях, парней в городских пальто и пиджаках; с папиросой в зубах шагал матрос первой статьи Васька Галаган, храбро выставив открытую – в густой татуировке – грудь свою навстречу смерти. Глаза у всех были круглы, зубы оскалены, немые рты сведены судорогой.

Минута равновесия…

В штыковой атаке секрет победы – кто лучше сумеет показать штык. Офицеры показали штык тверже. Красные откачнулись… побежали. Лишь матросы и немногие старые солдаты приняли удар. Все перемешались, как стая грызущихся собак. У кого не было штыка, тот глушил прикладом. Блистали вспышки револьверных выстрелов. Короткие вскрики мешались с рычанием и отрывистыми словами ругательств. Галаган, поддевая на штык, кидал офицеров через себя, точно снопы. Кулагин участвовал в рукопашной первый раз, но с задачей справлялся отлично: колол в два приема, как когда-то на ученье соломенные чучела. Выбившись из сил, он бросил осопливевшую от крови винтовку и принялся стрелять из нагана в согнутые спины, в волосатые затылки.

Издалека покатились, нарастая, крики:

– Кавалерия… Давай, дава-а-ай!..

С пригорка, развернувшись и оставляя за собой завесу пыли, карьером спускалась красная сотня. Храпящие кони, приложив уши и распластавшись, летели, точно не касаясь земли. Всадники лежали на шеях коней, полы черкесок бились над ними, как черные крылья, а выкинутые над головами шашки сверкали, подобны гневу.

– Огонь!.. По кавалерии!

Но было уже поздно.

Командир, повернувшись к своей сотне, пронзительным голосом завизжал:

– Рубай!

И первым ворвался в гущу офицеров, работая шашкой с молниеносной быстротой.

Пыхнуло:

– Ура…

Подхватили:

– Ааа…

Хлест и хряск, стон и взвизг стали, скользнувшей по кости.

Роты офицерские, построившись ежиком, поспешно отбегали, расстреливая последние патроны, теряя людей. Один отбившийся в сторону взвод марковцев был затоптан конями и вырублен начисто.

Сражение перекинулось на другой участок.

Из-за станицы в разрывах ветра доносился слитный бой барабанов и резкие рожки горнистов, играющих атаку.

Бой длился часов десять беспрерывно. Неоднократно белые занимали станицу, и всякий раз красные вышибали их. Лишь после полудня станица была окончательно взята. По улице проскакал со своими текинцами хмурый Корнилов. Несколько домов были переполнены ранеными. В разбитые окна неслись крики и стоны наспех – без наркоза – оперируемых.

Кулагин разыскал друга. Казимир был уже переодет, перевязан и уложен в постель. У изголовья плакала, надвинув на глаза белую косынку, Варюша.

– В кость? В мякоть? – спросил Кулагин.

– Пустяки, не беспокойся, – прошептал раненый.

– Пуля попала ниже ключицы, – с скорбной улыбкой сказала сестра, – задела верхушку легкого и вышла под лопатку…

Два казака внесли и положили на пол хрипящего в беспамятстве есаула. Одно ухо его вместе с лоскутом щеки было ссечено, из обрывка рукава торчала сочащаяся алой кровью, отхваченна-я выше локтя рука: от линии обруба кожа вздернулась на полвершка, белая кость была обнажена. Варюша принялась перевязывать искалеченного есаула.

– Еще несколько таких боев, и от армии останутся рожки да ножки, – сказал Кулагин. – Связанные обозом, мы лишены возможности маневрировать, У нас нет тыла. Во что бы то ни стало мы должны все время побеждать: даже один-единственный проигранный бой явится для всех нас гибелью, поголовным уничтожением.

– Дурная игра.

– Да, шансы на выигрыш призрачны… Но что же делать? Необходимость толкает нас продолжать игру до последнего патрона. Судьбе, видимо, угодно за горе и позор России расплатиться нашими головами… – Желая развлечь друга, Кулагин рассказал о заключительных сценах атаки. – Летит, понимаешь, и прямо на меня. Пасть – во! Борода – во! Глаза, как фонари горят. Я ему прямо в морду щелк, щелк… Что за черт, думаю, осечка? Щелк, щелк, ну – пропал, конец… И только уже после боя сообразил, что в нагане-то у меня ни одного патрона не оставалось. Спасибо этому моему Санчо-Пансо, Чернявскому, осадил разбойника, а то бы…

Казимир задремал, сжав поблекшие губы.

Еще накануне штаб имел тревожные сведения о Екатеринодаре. В Кореновской было получено достоверное сообщение о том, что Кубанская рада и ее ставленник Покровский покинули город и ушли за Кубань. Ошеломляющая весть взбесила одних, угнетающе подействовала на других. Рухнула надежда на отдых. Продвижение вперед теряло смысл: если бы город и удалось захватить, то с имеющимися силами его невозможно было бы удержать. Гонимая страхом армия повернула на юг, прорвала кольцо красных под Усть-Лабинской и проскочила через реку Кубань, взорвав за собой мост.

По Закубанью – стон стеной.

Революция подняла на дыбы и стравила казака с мужиком, мужика с черкесом, черкеса и с мужиком и с казаком. Отрыгнула давнишняя вражда. Казаки точили зубы на горцев еще со времен кавказских войн, а с мужиками – старая песня – лютовали из-за земли. Мужики организовывались в красногвардейские отряды, захватывали панские пашни и на митингах кричали, что горцев надо перебить, а с казаками устроить передел земли на равных началах. Черкесские князьки мыкались по аулам и собирали на защиту краевого правительства национальные отряды. Наиболее горячие головы из туземных дворян и духовенства во сне и наяву видели, как бы отложиться от России и восстановить, под покровительством Турции, «Великую Черкесию», границы коей когда-то простирались от Эльбруса до Азовского моря. Краевая рада противилась земельному переустройству и призывала население дожидаться Учредительного собрания. Рада заседала в Екатеринодаре в атаманском дворце – ни один штык не мог достать до нее: вся ненависть хуторян упиралась в аулы и станицы, кои поддерживали краевое правительство. Черкесы, объединившись с казаками, нападали на хутора – жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Хуторяне, при поддержке тех же казаков, устраивали набеги на аулы – жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Так были разгромлены аулы Габукай, Джиджихабль, Ассоколай, Кошехабль, Шенджий, Вочепшии, Лакшукай и много сел и хуторов, разбросанных по рекам Пшишу, Лабе и Белой.

Корнилов ввалился в Закубанье, как в осиное гнездо. Черкесы выставили под его знамена конный полк, собранный из всадников бывшей Дикой дивизии. Хуторяне, опасаясь мести, поголовно поднялись на защиту своих животов. Казаки отошли в сторону и стали выжидать событий.

…Кадету Юрию Чернявскому война окончательно разонравилась. Он отупел от усталости. Безразличное отношение ко всему окружающему нарушалось лишь взрывами ожесточения. Случалось, после боя он оставался со сверстниками на поле сражения достреливать раненых и пленных врагов: в плен не брала ни та, ни другая сторона. Страдания не трогали, и кровь больше не волновала его. Не радовал и георгиевский крест, полученный за кореновский бой. А давно ли он робел от грозных окриков классного наставника, боялся выходить ночью в полутемный коридор, трепетал при встречах на ученических балах с кудрявой гимназисткой Стасей… И только о собственной смерти он не мог размышлять спокойно. Каждым ударом своего маленького задубевшего сердца он торопил армию выйти из-под ударов противника, забраться в дикие, недоступные горы… Перво-наперво вымоется он, Юрик, в бане, потом влюбится в черкешенку, потом займется охотой, потом…

– Огонь… Цепь, огонь!.. Пулеметы, огонь!.. Чернявский, какого черта не слушаете команду? Ложитесь!

Юрий очнулся и увидел невдалеке в канаве своего взводного, присевшего на корточки. Не успел еще кадет ничего сообразить, как рядом что-то бякнулось, обдав брызгами, и под ноги медленно подкатился стакан снаряда… «Конец… вот», – мелькнуло в сознании, но снаряд не разорвался: кадет перешагнул через него и, поймав взгляд взводного, покраснел от удовольствия. Затем он припал на колено и, почти не целясь, начал стрелять по мелькавшим на бугре шапкам красногвардейцев.

Сыпал дождь…

Взвод, рота, полк, вся армия лежала в болотистой низине и беспорядочной стрельбой отгоняла наседающих со всех сторон мужиков. Из обоза, по распоряжению командующего, были выгнаны на линию огня все способные защищаться. Профессора, адвокаты, социалистические вожди, волоча за собой винтовки, ползли резервными цепями и тоже стреляли. На немытых, обросших лицах – ужас, обида, недоумение… Красные и на сей раз были рассеяны.

Корниловский полк головным входил в хутор.

– Ну, как, Юра, струхнул? – подмигнул Кулагин и рассмеялся. – Екнула селезенка?

– Никак нет, Николай Александрович, – бодро ответил кадет.

– Господа, – обратился Кулагин к своему взводу и, для пущей важности кое-что прикрасив, рассказал о снаряде. – Герою честь, герою слава…

Смущенного Юрия схватили и принялись качать. Взлетая над головами соратников, он крепко держал над собой в вытянутой руке винтовку и чуть ли не впервые за весь закубанский поход почувствовал себя по-настоящему счастливым.

– Песенники, вперед!

Несколько человек выбежали из строя.

Полк ухнул, с невеселым весельем подхватил и понес по тихой вечерней улице казарменную песню.

Внезапно из ближайшего двора выбежали два солдата и полураздетая растрепанная баба – все с винтовками. Они встали перед хатой в ряд, локоть в локоть, вскинули винтовки и открыли частую стрельбу.

Упал запевала… Упал князь Шаховский, упал еще кто-то…

Все растерялись от дикой неожиданности. За время длительного боя каждый растратил весь запас хладнокровия.

– Пулемет сюда! – истерически взвизгнул гимназист Щеглов.

– Корниловцы, стыдитесь! – крикнул командир полка полковник Неженцев и, выдернув из кобуры револьвер, быстро и прямо подошел к троим… Почти в упор он застрелил одного солдата, другой бросился бежать, но, пробитый сразу несколькими пулями, повис на заборе. Подскакавший черкес конем сшиб женщину, и не успела еще она упасть, как легким и мастерским ударом шашки всадник ссек ей голову начисто, по самые плечи. Голова покатилась офицерам под ноги, завертываясь в разлетевшиеся пышные волосы.

– Зажечь хату, – приказал командир.

– Разрешите, Митрофан Осипович, оставить до утра, людям под открытым небом ночевать холодно. Перед выступлением запалим весь хутор.

Неженцев согласился.

Двигались марш-маршем. Непокорные хутора оставались позади в пепле, прахе и крови. Начали попадаться аулы. Гор, о которых мечтал не один Чернявский, и в помине не было. Царское правительство расселило черкесов на равнине, окружив кольцом линейных станиц. Аулы почти ничем не отличались от русских сел и хуторов: знакомые, крытые камышом и соломой хаты; те же упирающиеся хвостами в речку огороды; и кое-где… церкви. Вместо воспетых поэтом «праздных, гордых черкесов» пришельцев встречали воющие, обезумевшие от ужасов террора люди. Благообразные старики, ползая на коленях, седыми бородами вытирали грязь с сапог победителей.

Однажды, в глухую ночь, разъезд юнкеров наткнулся на заночевавшую в голой степи армию кубанского правительства. Бродячие армии возликовали.

…В сарай, где на сене отдыхали корниловцы, забежал штатский. Он огляделся и, заметив в темном углу людей, строго спросил:

– Какой части?

– Корниловцы. Что угодно?

– Не может быть… Разрешите представиться – член законодательной рады Дмитрий Михайлович Чернояров.

Все, точно по уговору, промолчали и остались лежать в вольных позах.

– Вы, господа, не подумайте обо мне дурно. Мы, члены правительства, находимся в таких же условиях, что и рядовые чины отряда. Наравне со всеми голодаем, спим по-казацки на кулаке, сами ухаживаем за своими лошадьми.

– Позвольте узнать, какие стратегические или тактические соображения побудили вас вчера заночевать в степи под проливным дождем? – спросил кадет Чернявский и, довольный своей выходкой, оглянулся на соратников.

– Лиха беда заставила, – ответил Чернояров. – В ту проклятую ночь даже курить было запрещено, чтобы не обнаружить своего местопребывания.

– Ха-ха-ха… Вы – законная власть на Кубани и боитесь себя обнаружить?

– Ничего не попишешь… У нас только было начала развертываться законодательная работа, а тут, извольте, война. Так никогда и никакого порядка в крае не наладишь.

– Сами виноваты, – отозвался кто-то из темного угла. – Партийные и социалистические интересы вы ставите выше интересов государственных и национальных.

– Как бы там ни было, а большевикам скоро крышка. По секрету могу сообщить: час тому назад состоялось заседание рады по вопросу о соединении с вами, и, понимаете, господа, никаких разногласий. Полное единодушие. Мы, кубанцы, весьма довольны тем, что вы присоединяетесь к нам.

– А почему не наоборот?

– Кажется, ясно… Вы мало знакомы с местной обстановкой, вы пришли на нашу территорию, вы…

– Чепуху городите, не знаю, как вас титуловать, – сердито сказал Кулагин. – Кубань не африканская республика, а всего-навсего область государства Российского.

– Я вас не понимаю…

– И напрасно.

– Мы, радяне, не разделяя политических убеждений монархистов, разумеется, склоняем головы перед светлыми личностями Корнилова и Алексеева, но тем не менее будем со всей решительностью отстаивать самостоятельность края, ибо имеем на таковую историческое право. У нас, могу сообщить по секрету, уже выработаны и принципиальные условия, при строгом соблюдении которых только и может произойти соединение нашей армии с вашей.

– Во-первых, у вас не армия, а отряд, – сказал Кулагин, – во-вторых, интересно знать, что вы предпримете, если Корнилов потребует полного и безоговорочного подчинения?

– Ну, знаете, если вопрос будет так заострен…

– То?

– Мы, разумеется… подчинимся.

Кулагин захохотал, потом спросил уже другим тоном:

– Итак, говорите, поход полон неудобств?

– Ничего не поделаешь, приходится мириться. Сегодня, например, нам отведено помещение школы, где и спим на грязном полу все сорок человек, все правительство. Бывает и хуже. Под Тахтумукаем большевики окружили наше войско, и, не хвалясь скажу, только присутствие членов рады на линии огня спасло положение. Когда казаки и простые отрядники видели нас, своих избранников, рядом с собой, то воодушевлялись и смело бросались в контратаки, шли на верную смерть: кололи, рубили, резали – красота… В ауле, где мы последний раз дневали, – простодушно продолжал повествовать Чернояров, – большевики разграбили все до последней нитки, и, смешно сказать, мне, члену правительства, пришлось пить чай прямо из конного ведра через край.

– А где же ваша рада растеряла чайные сервизы?

– Увы… Отступление было столь поспешным, что войсковой атаман впопыхах забыл в городе булаву, без которой, по старым казацким традициям, он и власти-то над войском не имеет.

– Значит, большевики как следует наломали вам хвост?

– Счастье, господа, изменчиво… За нами – Кубань, казачество и, наконец, правда. – Он взвалил на горб вязанку сена и вышел.

– Фрукт, – сказал поручик Дабижа. – И за каким чертом нам с ними связываться?

– Вы не политик, князь, – отозвался Кулагин, укрываясь с головой шинелью. – Оставим эти неприятные вопросы на усмотрение начальства.

– И горжусь тем, что не политик. В свое время всех нас учили воевать, а не рассуждать.

Скоро все захрапели.

– Иван Павлович, объясните ради бога, что это за ге-не-рал Покровский? – обратился Алексеев к начальнику штаба. – Я что-то не помню такого имени.

– Проходимец, ваше превосходительство, каких свет не видал, – ответил Романовский. – В старой армии сей гусь служил в авиации в чине штабс-капитана. В революцию прибыл на Кубань и за несколько месяцев сделал карьеру. Рада пожаловала его сперва полковничьими, а через недельку и генеральскими погонами. К тому же, по сведениям разведки, преотчаяннейший интриган и политикан.

– Странная публика эти провинциальные властители. С ними каши не сваришь. Еще перед рождеством из Новочеркасска послал я в Екатеринодар представителя нашей армии генерала Эрдели. Почему они не воспользовались услугами этого энергичного и умного человека, если уж не имеют своего полководца?

Романовский пожал плечами.

Дверь распахнулась, и дежурный офицер доложил:

– Его превосходительство Лавр Георгиевич Корнилов. Корнилов быстро вошел и поздоровался.

– Иван Павлович, по какому это случаю на площади весь вечер играет оркестр? Прилег было вздремнуть – не могу. Всю голову разломило. Пошлите выяснить, и нельзя ли… прекратить.

Романовский вышел распорядиться. Корнилов с Алексеевым остались вдвоем. Некоторое время они молчали, потом Корнилов крепко, до хруста в суставах, потер маленькие сухие руки и заговорил:

– Бродить по степям и болотам дольше немыслимо. Люди измучены, потери весьма значительны, армии грозит гибель, если… если в ближайшие дни мы не возьмем города. Ваше мнение, генерал?

– Полноте, Лавр Георгиевич, зачем вам знать мое мнение? Чтоб не согласиться с ним? Вы – командующий, вам и вожжи в руки.

Судорога бешенства промелькнула в лице командующего, но он сдержался и спокойно продолжал:

– Нас раздавят. Немыслимо вести войну с ордой сброда. Нам нужна база. Город может спасти положение. Поднимем сполох, кликнем клич, верхи казачества и всякий честный человек, в ком сохранилась хоть искорка патриотизма, будут с нами.

– На Дону мы допустили ошибку, понадеявшись на казачество. Мне кажется, что на Кубани вы, Лавр Георгиевич, эту ошибку повторяете.

– Неправда. Вы не понимаете или не хотите понять теперешней обстановки… Три хороших перехода, и мы будем в городе. Смелым бог владеет. Риск….

– Риск уместен в картежной игре, – перебил Алексеев и поднял лобастую лысеющую голову. Расстроенное лицо его болезненно морщилось, а проницательные глаза в золотых очках были строги, как поплавки на тихой воде. – Я сторонник расчета и плана. Простите меня за вольность, но на войне приходится больше рассчитывать на штык, а не на святителей. Хорошего командира полка я не променял бы на угодника. Понадеялись на бога, – японскую кампанию проиграли, да и германскую тоже… Силы неравны, и с этим нельзя не считаться.

– Что ж, я должен избегать встречи с большевиками? Должен беречь своих людей от пуль неприятеля?

– Нет, нет. Борьбу необходимо продолжать со всей решительностью. Всякая армия, как известно, загнивает от бездействия, но, повторяю, силы неравны… Оттяните войска в Сальские степи, дайте людям и лошадям отдых, сократите обоз, и там, поверьте, недолго придется ждать настоящего дела. Под боком – Дон, на Украине – чехословацкий корпус.

– Сальские степи, – зло усмехнулся Корнилов, – не я ли месяц назад настаивал на том, чтобы идти именно туда? Весь генералитет – Деникин, Марков, Богаевский, Лукомский, Боровский, Иван Павлович и, наконец, вы – уговорили меня повернуть на Кубань. Теперь о Сальских степях думать поздно, это у черта на куличках, а у нас снаряды и патроны на исходе, продовольственные запасы иссякли, конский состав разбит, в обозе шестьсот сорок раненых, люди вымучены до последней степени… Я возьму город во что бы то ни стало. Так честь, так долг, так совесть велят!

– Авантюра, – гневно и без малейшего колебания выговорил Алексеев. – Город вряд ли удастся взять, а рискуете вы всем. Ваш долг перед родиной…

– Я прекрасно сознаю свои обязанности перед Россией, – с надменной улыбкой сказал Корнилов и поднялся; раздувающиеся ноздри его трепетали, губы дрожали. – Простите, генерал, но вы не понимаете простой истины: пусть поражение, но только не срам.

Вошел Романовский и доложил:

– На площади по приказанию Покровского под музыку вешают местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам. Я распорядился прогнать музыкантов.

– Отлично, – сказал Корнилов. – С рассветом мы выступаем на Ново-Дмитровскую. Авангардом пустить Марковский полк, а то его офицеры жаловались, что я им не даю возможности отличиться. Арьергардом – юнкеров.

Начальник штаба молча поклонился.

…Всю ночь сыпал спорый весенний дождь.

Было еще темно, когда по размокшим дорогам выступили передовые полки. Потянулся обоз, штабы, повозки с больными и ранеными. Станица Ново-Дмитровская, раскинутая по широкому бугру, встретила наступающих огнем пулеметов и батарей.

Армия замялась.

Путь к станице преграждала буйствующая речка, на которой все мосты и переправы были уничтожены. Всадники, высланные на поиски бродов, вернулись ни с чем.

К полудню подул холодный ветер, мокрыми хлопьями повалил снег.

Люди покорно мокли и дрогли.

Ветер густел

застонала вьюга

тьма окутала снежное поле.

Расстроенные полки стояли по колено в ледяной каше и ждали распоряжений начальства, которое и само не знало, на что решиться… Возвращаться в Калужскую и Пензенскую было невыгодно и позорно: за все время похода армия еще ни разу не пятилась, к тому же не миновать было брать Ново-Дмитровскую. Вести полки в лобовую атаку вплавь через речку представлялось немыслимым. Оставаться на ночь в чистом поле было невозможно: давно уже ни на ком не осталось ни одной сухой нитки, из обоза летели зловещие вести – такой-то замерз, такой-то застрелился.

В обозе ползали обильно питаемые паникой разжиревшие слухи. Частой ружейной трескотне внимали трепетные беженцы, из которых каждый был знаменитостью. Социалисты разных толков восседали на чемоданах и вели нескончаемые споры о судьбах революции. Председатель Государственной думы Родзянко суковатой палкой колотил по костлявому заду взмыленную лошаденку и делился с любезными слушателями воспоминаниями. Закутанные в меха барыньки стрекотали, как сороки. Профессора коротали досуг в тихих беседах, полных горестных размышлений. Над раскрытыми ларцами со снедью сидели, не смыкая чавкающих ртов, отощавшие помещики: всей своей требухой чуя еще большие невзгоды, они торопились насытиться про запас, чтоб в крутую минуту было чем прожитую жизнь вспомнить. Доверенный царя небесного, затканный седым пухом преподобный о. Серафим взирал на все творящееся, как сыч на солнце. Весьма известный журналист Борис Суворин не терял времени попусту и заносил в дневник дорожные впечатления, подслушанные разговоры, заметки о казачьем быте и все это обильно уснащал рассуждениями, полными бурных огорчений. Сердца знаменитых стыли в страхе за свою и за Россиину судьбу.

– Николай Александрович, терпенья не хватает, в атаку бы, что ли… Так и так пропадать.

– Бегай, Юрик, грейся. Всем плохо, и все терпят.

Корниловцы, составив ружья в козлы и не обращая внимания на высокие разрывы шрапнели, боролись, тузили друг друга по бокам. Кадет, не теряя из виду своего взвода, начал бегать от межи до какого-то столбика и обратно. Обмерзшая шинель гремела на нем, как лубяная, закоченевшие пальцы еле держали винтовку, на прикладе которой настыла ледяная корка.

Офицерский Марковский полк, пользуясь темнотой, подобрался к самому берегу.

– Господа, господа, – вполголоса агитировал Марков, бегая по цепи и хлопая себя по голенищу плетью, – за ночь мы перемерзнем здесь, как суслики. Помощи ждать неоткуда. Надо решиться.

– Мы за вами в огонь и в воду.

– Благодарю, господа! Благодарю за доверие! – Генерал сорвал залепленную мокрым снегом папаху, перекрестился. – Ну, с богом! За мной! – И, подняв над головой винтовку, первым полез в речку.

Станица была взята…

Армия, передохнув, переправилась под Елизаветинской через реку Кубань и с трех сторон обложила город. Бой гремел второй день, но победы не было. Корнилов вызвал в штаб Неженцева.

– Здравствуйте, дорогой.

Неженцев начал было рапортовать о состоянии полка, но командующий раздраженно перебил:

– Отставить. Не до церемоний. Садитесь и рассказывайте. Когда будем в городе?

– К сожалению, Лавр Георгиевич, ничем не могу порадовать. Полк тает. Сегодня два раза ходили в атаку и не продвинулись вперед ни на шаг.

– Знаю, знаю. Я уже распорядился выслать на пополнение полка две сотни мобилизованных казаков. Хватает ли патронов? Каково настроение? Когда будем в городе?

– Патроны на подборе. Люди измотаны, засыпают в окопах. Настроение падает. Час назад, когда я приказал возобновить атаку, цепи… не поднялись.

– Что? – командующий вскочил и отбежал в угол комнаты. – Корниловцы отказались идти в атаку? Позор! Позор!

Командир полка опустил голову.

– Значит, действительно дела неважны, – сказал Корнилов и задумался.

– Старого состава в полку осталось меньше половины, пополнения… сами знаете…

– Все это я прекрасно понимаю и лично вас, Митрофан Осипович, ни в чем не виню. Нужно поднять дух людей и внушить им, что город должен быть взят во что бы то ни стало.

– Слушаюсь.

– Почти два месяца, как мы выступили из Ростова, и до вчерашнего дня армия с честью выполняла все приказания своего командующего. Неужели теперь, когда осталось сделать одно усилие, ряды дрогнут? Нет! Я скорее застрелюсь, чем отступлю от города, – так и передайте полку.

– Лавр Георгиевич…

– На один наш выстрел большевики отвечают залпом. Против одного нашего бойца выставляют десяток… Медлить нельзя, иначе войска потеряют сердце. Сегодня же… Я вас больше не задерживаю. Желаю удачи. С богом!

Неженцев ушел и в тот же день был убит на позиции. Начальнику штаба полковнику Барцевичу – Романовский был уже ранен – командующий продиктовал:

**ПРИКАЗ
Войскам добровольческой армии**

Ферма Кубанского
экономического общества.

Марта 29, 1918 г.
12 ч. 45 м. утра

185

1) Противник занимает северную окраину города Екатеринодара, конно-артиллерийские казармы у западной окраины города, вокзал Черноморской железной дороги и рощу к северу от города. На Черноморском пути имеется бронированный поезд, мешающий нашему продвижению к вокзалу.

2) Ввиду прибытия ген. Маркова с частями 1-го Офицерского полка возобновить наступление на Екатеринодар, нанося главный удар на северо-западную часть города.

а) Ген.-лейтенант Марков – 1-я бригада. 1-го Офицерского полка четыре роты, 1-го Кубанского стрелкового полка один батальон, 2-я отдельная батарея, 1-я инженерная рота – овладеть конно-артиллерийскими казармами и затем наступать вдоль северной окраины, выходя во фланг противнику, занимающему Черноморский вокзал, и выслать часть сил вдоль берега реки Кубани для обеспечения правого фланга.

б) Генерал-майор Богаевский – 2-я бригада. Без 2-й батареи 3-я батарея и второе орудие 1-й отдельной батареи. Один батальон 1-го Кубанского стрелкового полка и первая сводная офицерская рота Корниловского ударного полка – наступать левее ген. Маркова, имея главной задачей захват Черноморского вокзала.

в) Генерал Эрдели – Отдельная конная бригада, без Черкесского конного полка – наступать левее генерала Богаевского, содействуя исполнению задачи последнего и обеспечению его левого фланга и портя железные дороги на Тихорецкую и Кавказскую.

3) Атаку начать в 17 часов сегодня.

4) Я буду на ферме Кубанского экономического общества.

*Ген. Корнилов*

Город сотрясался от орудийной пальбы.

В ночном небе пласталось зарево пожаров – горели артиллерийские казармы, кожевенные заводы, дома и лавки на сенном базаре.

К городу – на огонь и гул – со всей Кубани устремлялись партизанские отряды. По степным дорогам пылили подводы с пехотой, летела кавалерия, и к вокзалу то и дело подкатывали эшелоны с Тихорецкой, Кавказской, Тамани, из Новороссийска.

У подъезда штаба обороны дежурили автомобили с потушенными огнями, вестовые держали наготове подседланных коней. На парадном, присев за пулеметом на корточки, покуривал печатник Астафьев. На лестницах и по коридорам спали вповалку.

Штаб обороны заседал беспрерывно.

Покровский перед бегством из города разгромил левые революционные организации. Много рядовых большевиков погибло в застенках, выловленные главари большевистского временного исполкома были уведены как заложники. Городская общественность руками и языками эсеров и меньшевиков помогала раде и сбором средств, и организацией благотворительных вечеров, и сколачиванием ученических дружин. Рада бежала, и политические ваньки-встаньки вызвались служить совдепам. У большевиков своих сил не хватало. Случалось, на должности директоров и управителей посылались люди, еле умеющие подписывать свою фамилию. Торжествующие говоруны были введены и в общественные организации и в штаб обороны… С фронта хорошие вести, и работа штаба кипела – скрипели перья, пищали полевые телефоны, получив назначение, убегали агитаторы, сновали ординарцы и фуражиры, командиры прибывающих частей получали боевые задания. Но достаточно было разорваться где-нибудь поблизости шальному снаряду или пронестись тревожному слуху, и в штабе – паника: кто хватался за портфель, кто за чемодан, секретарь, комкая, рассовывал по карманам протоколы, в задохнувшейся тишине хлопали двери, ящики столов.

В углу зала на диване с мокрым полотенцем на голове лежал юный главком Кубано-Черноморской республики Автономов.

– Вставай, вставай, обормот, – расталкивал главкома его помощник Сорокин, вызванный в штаб на совещание. – На мягких диванах твое дело дрыхнуть да парады принимать, а воевать тебя нет.

– Доктора… – стонал пьяный главком. – Умираю.

– Плетей тебе хороших, поганец. Штатские вон уговариваются город сдавать, а ты и не чешешься.

– Иван Лукич, голубчик, – подступал к Сорокину один из самых влиятельных членов штаба, – вы не так меня поняли. Никто и не помышляет об отступлении. Я лишь предлагаю перенести штаб на вокзал, на колеса. Ведь ежели ворвутся кадеты, то нас, идейных, перевешают в первую голову, и революция, лишившись вождей, надолго заглохнет во всем крае.

– Перебьют, перевешают, бежать надо, бежать, – басил из угла другой член штаба. – Впустим белых в город, как в западню, а потом окружим и прихлопнем.

Сорокин возгорелся гневом:

– Штатская сволочь! Предатели! Забирайте свои зонты, калоши и валитесь к чертовой матери!.. Останусь без вождей, но с верными революции войсками. Город не сдам.

Большевики Петя Рыжов, Фрол и длинноволосый анархист Африканов наперебой кричали Сорокину, что они и сами не согласны со своими товарищами, но тот уже ничего не хотел слушать и, выхватив шашку, кинулся к дверям.

– На фронт, друзья, на фронт! Долг зовет!

Следом за ним, ровно собаки за хозяином, побежали телохранители – казаки Гайченец и Черный.

– Подлец! – кричал Сорокин уже на улице, остановив начальника гарнизона Золотарева. – На фронте кипит святая борьба, а у тебя в тылу убийства и грабежи не прекращаются. Пьяные шайки бродят по улицам, раздевают своих раненых и нагоняют панику на мирных жителей. Часовые на посту курят, разговаривают и никак не соблюдают правил устава. Я сам люблю выпить, но пью, когда боев нет.

Золотарев тянулся и бормотал извинения. Командующий ухватил его за плечи и принялся колотить головой о забор:

– Мерзавец… Всеми мерами рассудка и совести ты должен отрезвлять пропойц и громил, а ты сам пьянствуешь, грабишь и ночи напролет прогуливаешь со шлюхами.

– Прости…

– Ну, иди. На глаза пьяный не попадайся, застрелю. Приказываю немедленно восстановить и поддерживать в городе порядочек. Всякие безобразия подавлять силой оружия.

Начальник гарнизона принял под козырек: из-под широкого рукава черкески блеснул браслет. Сорокин погрозил ему плетью и, вскочив на жеребца, ускакал. Впоследствии по распоряжению ревкома Золотарев был расстрелян. Автономов, вскоре после описываемых событий возомнивший себя Бонапартом, навел дула пушек на кубанский совнарком, за что и был низложен и ошельмован. Главкомом, после смещения Автономова и Калнина, был избран Сорокин.

Фрол вышел на улицу.

По железным крышам домов барабанили осколки лопающихся на большой высоте снарядов. Косо висели сбитые вывески. Из окон сыпалось, всплескиваясь на тротуарах, стекло. На дороге среди разметанных камней торчал скрученный штопором трамвайный рельс.

От вокзала по всем улицам вольным шагом двигались войска.

С Дубинки и Покровки – рабочие слободки – народ валил густо, будто на митинг. Стар и мал встали на ноги, под винтовку. Никому и ничего не было страшно: шли наотмах, грудь на грудь.

Катились, погромыхивая, орудийные запряжки, рессорные линейки Красного Креста и военные повозки с номерными флажками. Партизаны – кто в картузе, кто в треухе, кто в соломенной шляпе. Рваные кожухи, шинели разных сроков, лоскуты и заплаты. На зарядном ящике ехал артиллерист в собольей шубе нараспашку. Матрос с нацепленными на босые ноги шпорами трясся на неоседланной лошади и держал над головой кружевной зонтик.

По тротуарам, обгоняя обозы, на рысях сыпала кавалерия.

Сидит генерал,
Перед ним каша,
Бедняки кричат:
Вся Расея наша…

Улица гремела из конца в конец.

Офицер молодой,
Куда топаешь?
Под лапу попадешь,
Пулю слопаешь…

«Вот оно», – радостно вздрогнув, подумал Фрол. От восторга у него запершило в горле, в глазу блеснула дорогая слеза. Он вмешался в ряды и пошел в ногу со всеми.

Офицерик, офицер,
Погон беленький,
Удирай-ка с Кубани,
Пока целенький…

В дверях прачечной охала и причитала старуха:

– Бедненькие, али у них отцов-матерей-то нет? На погибель идут.

Здоровенная трегубая девка тащила ее прочь.

– Айда, тетка Анна, черт их разберет, не суйся.

– Я, доченька, сама сирота, знаю, какая жизнь без отца-то без матери… Тридцать годиков, как один денек, у полковника Шаблыкина в услужении прожила, белья-то горы перестирала, – она подняла посбитые до мослов кулаки, – выгорбила меня работушка, высушила заботушка, а полюбовница его Аглаюшка и выгони меня под старость на вей-свет…

– Будет тебе, тетка, – не унималась девка, – слушать тошно рвать тянет, айда!

– Выгнала и выгнала. А куда я седую голову приклоню, где кусок добуду? Проучите их, ребятушки, бесов гладких, залейте им за шкуру сала дубового, пускай узнают, какое на свете горе живет… – Изъеденной щелоком красной рукой старуха крестила проходящие роты.

Подкрепления прибывали и прибывали.

Людьми и обозами были запружены все улицы и дворы, прилегающие к берегу Кубани, к сенному базару и садам.

Четвертые сутки бушевал бой.

С позиции вели под руки и несли раненых. Иные брел и сами, волоча подбитые ноги, зажимая горячие раны. Иные отдыхали под прикрытием домов и заборов. По мостовой полз подстреленный мальчишка. «Кровь во мне застывает», – чуть слышно проговорил он подбежавшему санитару и умер, обняв тумбу. Натыкаясь на людей, протрусила заседланная лошадь, – за ней по мостовой волочились вывалившиеся из вырванного бока кишки.

За кирпичной стеной – перевязочный пункт. Похожий на скотного резаку, до усов забрызганный кровью, фельдшер бритвой подпарывал штанины и рукава, спускал с простреленных ног сапоги. Заплаканные и падающие от усталости женщины суетились около раненых.

– Ух, ух! – закричала вдруг одна, узнав мужа: рваная рана на груди, ключом била кровь. Женщина, не помня себя, сорвала с головы платок и принялась затыкать им рану. Санитары еле оторвали ее от носилок.

Раненых окружали, расспрашивали о боях, угощали табаком и хлебом.

Васька Галаган бегло рассказывал:

– На рассвете подлетает к нашим окопам какой-то фраерок в рваной шинелишке и гудит: «Братишки, измена». – «Где, спрашиваем, измена?» – «Все наши командиры дурак на дураке, бить их надо. Сорокин неправильные подает сигналы. И все наши снаряды летят в реку Кубань». – «А ты кто такой?» – «Я, отвечает, подрывник саперного батальона. Бей командиров, они нас продали. Спасайся, моряки, измена». Мы к нему: «Ваши документы?» Он брык и наутек. Мы за ним, он от нас. Догнали, повалили, давай обыскивать. Сдернули сапог – под портянкой флаг белый, сдернули другой – погоны выпали. «Ты что же, дракон, туману нам в штаны напускаешь?» – «Простите, плачет, брати-шечки, я хотя и не сапер, а поручик, но истинный республиканец, люблю революцию и весь простой народ». – «Ты, кричим, нас любишь, а вот нам за что вашего брата любить?» Только мы его кувыркнули под откос, слышим, гу-гу, гу-гу, тра-та-та, тра-та-та. По всему фронту поднялись ихние цепи и на нас в атаку. Ну, мать честная, накатали мы их гору!

Бум!

бьет из переулка пушка и в изнеможении откатывается.

– Перелет! – кричит с крыши наблюдатель.

Бум!

– Есть!

Бум!

– Есть!.. Крой беглым.

Слободской сапожник Ваня Грибов сидел на лафете подбитой пушки и гнул через коленку трепаную гармонь. При каждом выстреле он дергался и хохотал.

– Крой, Микишка, бога нет!

Под забором, раскинув руки, лицом вниз валялся парень в прожженной на спине бекеше. Санитары потянули было его за ноги, намереваясь взвалить на телегу с мертвецами.

– Чо? – зарычал он и приоткрыл серый глаз.

– Живой?

– Катитесь отседова. – Парень повернулся на бок и сразу захрапел.

– Ну, и дьявол, – дивились кругом. – Смерть над ним вьется, над ухом пушка гукает, а он дрыхнет, и горюшка мало.

Фрол, пригнувшись, перебежал открытое место и спрыгнул в окоп, полный людей. Кто постреливал, кто спал, обняв ружье. Двое старых солдат, пофыркивая, пили неведомо какими путями раздобытый чай.

– Кого же ты, Петька, испужался?

– Ой, дяденька, страшно было ночью, – закатил под лоб глаза набиравший пулеметную ленту Петька. – Кругом гудит, огонь блись-блись, земля под ногами трясется, из раскаленных пулеметов льет растопленный свинец, раненые стонут, а тут еще в темноте-то китайцы гогочут. Ой, страшно, я убежал. Дома выспался, а чуть зорька – опять сюда. Мать не пускала, да я через окошко выпрыгнул.

Где-то взвыли рожки горнистов…

Нарастающий с флангов приглушенный крик – ура-а-а-а! – хватил по всей линии.

В окопах все пришло в движение.

– Опять лезут, – сказал солдат, отодвигая жестяную кружку с недопитым чаем, и, схватив винтовку, встал.

Невдалеке по черной пашне огорода ползли офицеры.

– Дяденька, дай стрельнуть, – попросил Петька.

– Я тебе стрельну, паршивец! – цыкнул на него старый солдат. – Сиди смирно и носу не высовывай.

Фрол не успел выпустить и одной ленты, как пулемет отказал. Не умея справиться с задержкой, он бросил его и перебежал к соседнему молчавшему пулемету, за которым дергался и пускал сквозь пушистые усы розовую пену мадьяр Франц.

Артиллерия, точно обезумев, открыла ураганный огонь. Воющий ливень стали остановил наступающих.

Мгновение

цепи покатились обратно.

Пулеметы еще выбивали уверенные трели, когда у Черноморского вокзала загремел серебряный оркестр и на виду у неприятеля, окруженный свитой, по фронту пошел Сорокин, танцуя лезгинку и стреляя из двух маузеров вверх. Партизаны за развевающиеся полы малиновой черкески стащили командующего в окопы.

Перед окопами у проволочных заграждений стонали раненые. Петька с бутылками воды на шее полз к ним.

Счастливой рукою посланный снаряд сразил Корнилова. Деникин, принявший командование, снял осаду, и армия пустилась в бегство, бросая по дороге пушки, обозы и сотни раненых соратников.

Блистало солнечное весеннее утро.

Поле битвы являло печальную картину… Всюду валялись расстрелянные гильзы, пустые консервные банки, патронташи, осколки стали, грязные портянки, окровавленные тряпки и трупы, трупы… По реке густо шла дохлая рыба. Покачиваясь и крутясь плыли вздувшиеся лошадиные туши. Далеко несло тухлятиной.

Но живые думали о живом.

– Пехота, на подводы!.. Конница, вперед!..

Паровоз шумит,
Четыре вагона.
Ахвицеры за Кубанью
Рвут погоны…

Музыка рвала сердца.

Сорока наступает,
Усмехается.
Кадеты тикают,
Спотыкаются…

Партизаны, наступая врагам на пятки, снова погнались за ними по степям. В гривы конские были вплетены первые цветы, а на хвосты навязаны почерневшие от запекшейся крови золотые и серебряные погоны.

**[Пирующие победители](http://www.imwerden.info/belousenko/books/russian/veselyj_russia.htm%22%20%5Cl%20%22top)**

*В России революция – пыл, ор,
ярь, половодье, урывистая вода.*

Всю дорогу разговоры в вагоне.

О чем крики? О чем споры?

– Все дела в одно кольцо своди – бей буржуев!

– Бей, душа из них вон!

– Братва…

– Земля наша, и все, что на земле, наше.

– А беломордые?

– Не страшны нам беломордые… Винтовка в руке, и глаз наш зорок.

– Правильно…

– Наша сила, наша власть. Всех потопчем, всех порвем.

Навстречу – два эшелона.

– Ура… Ааа…

Машут винтовками, шапками.

– Даешь буржуев на балык!

– Долой погоны… Рви кадетню!

– Поездили, попили… Теперь мы на них поездим.

– Крой, товарищи, капиталу нет пощады!

– Доло-о-ой…

И долго еще за эшелонами гремели матюки, хохот, стрельба вверх.

Горы расступились, впереди стеной встало море, по сторонам замелькали домишки рабочей слободки, и поезд – в клубах пара – подлетел к станции.

– Где комендант? – выпрыгнув из вагона, обратился Максим к пробегавшему мимо с пучком зеленого луку молодому солдату.

– Ах, землячок, – остановился тот и отер шинельной полой вспотевшее лицо, – сурьезные дела. Фронтовики не подгадят. Фронтовики в один момент обделают дела в лучшем виде.

– Я тебя о чем спрашиваю?

– Ну, теперь держись, ваша благородия, держись, не вались! – Солдат махнул луком и побежал дальше.

«С митингу, – догадался Максим, глядя ему вслед, – здорово разобрало, всякого соображения лишился человек».

Народ снует, народ шумит – давка, толкотня… Максим берет направление в вокзал.

– Где комендант, под девято его ребро?

– Я комендант.

– Тебя и надо.

– Кто таков и откуда? – очнулся комендант и поднял от стола, за которым спал, запухшее лицо. – Ваш мандат?

Максим отвернулся, расстегнул штаны и достал из потайного кармана бумагу.

– «То-то… (зевок) варищ ко-ма… (зевок) командируется за ору-жи-ем (зевок). Под-держка ре-во-лю-ци-он-ной вла… (зевок) власти на местах», – вслух читал комендант, потом потер на мандате помуслявленным пальцем печать и, развалившись в мягком кресле, сдвинул на нос шапку. – Не от меня зависит.

– Как так?

– Та-ак… – А сам и глаз не показывает.

– Да как же так?

– Эдак, – мычит сквозь сон.

– Да какой же ты комендант, коли оружия в запасе не имеешь?.. А ежели экстренное нападение контры?

– Мэ-мэ, – тихо мекает он и, уронив на стол голову, давай храпеть во все завертки.

– Га, чертов сынок! – плюнул Максим через коменданта на стенку и, выбрав у него из пальцев мандат, ударился в город.

НОВОРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ

На лестницах и в залах народу – руки не пробьешь. Черноморские молдаване хлопотали о прирезке земельных наделов; немцы-колонисты искали управы на самовольство казаков; фронтовики, матросы и рабочие шныряли по своим делам, и тут же неизвестный солдат продавал серебряные ложки.

Толкнулся Максим в одну комнату – заседанье, не продохнешь; толкнулся в другую – совещание с рукопашным боем; в третьей комнатушке местный комиссар финансов, на глазах у обступивших его восхищенных зрителей, из простой белой бумаги делал деньги.

Встал Максим в дверях и давай самых главных за руки хватать:

– Оружие…

Иному некогда, иному недосуг, все кричат и мимо бегут, и никто с делегатом говорить не желает. «Что тут делать? – думает Максим. – Хоть садись и плачь или обратно в станицу с таком поезжай…» С горя пронял его аппетит, пристроился на подоконнике, хлеба отломил и только было взялся за сало – глядь, Васька Галаган.

– Здорово, голубок.

– Да неужто ж ты, дорогой товарищ, живой остался?

– Э-э, меня не берет ни дробь, ни пуля…

– Ах, друг ситный, рад я ужасно!

Подманил Васька товарищей и ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как у попа гостевали, как он, Васька, в трубе ночевал… Ржали матросы – штукатурка с потолка сыпалась, советские обои вяли, стружкой по стенам завивались.

– Зачем, годок, в город притопал? Максим показал мандат.

– Оружия тебе, солдат, не достать, – смеется Галаган. – В совет здешний всякая сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы.

– Какой такой совет, коли силы-державы не имеет?.. А ежели экстренное нападение контры, они и усом не поведут?

– Не по назначению попал.

Уцепил Максим дружка за рукав бушлата и давай молить-просить:

– Васек, товарищ подсердечный, не могу я без оружия в станицу и глаз показать… За что мы скомлели, терзались на фронтах?.. И зачем нам допускать в советы кислу меньшевицкую власть?.. Долой золотую шкурку… В контрах вся Кубань, тридцать тысяч казаков.

– Успокой свое сердце, оружия тебе добудем.

– Верно?

– Слово – олово.

– А совет?

– Совет – чхи, будь здоров, погремушка с горохом… Вся власть в наших руках: хоромы, дворцы и так далее.

От радости Максим стал сам не свой. Сала кусок и хлеба горбушку на подоконнике забыл.

Матросы, подцепив друг друга под руки и, распевая песни, шли во всю ширину дороги.

Максим с мешком на горбу следовал за ними.

Миновали улицу, другую и всей ватагой ввалились в гостиницу «Россия». Барахла кругом понавалено горы. Сюда повернешься – чемодан, туда – узел, двоим не поднять. Картины, диваны и занавески – чистый шелк. На полу валялись пустые бутылки, на столах ковриги ржаного хлеба, целые кишки колбас, вазы были наполнены фруктами, а раззолоченные блюда – солеными огурцами и кислой капустой.

Проголодавшийся Максим набросился на жратву. Васька расстегнул бутылку шампанского. Вспомнили, как на автомобиле мимо дороги чесали, выпили; про трубу вспомнили, еще выпили; за поповский сапог наново выпили. Вывел моряк гостя через стеклянную дверь на балкон и показывает:

– Вон немцы в Крыму… Вон Украина, страна хлебородная, всю ее покорили гады, а флот наш сюда отсунули.

– Немцы?

– Немцы, хлесть их… Шлём-блём, даешь флот по брест-литовскому договору… Шалишь… Распустили мы дымок, сюда уплыли. Выпьем вино до последнего ведра, дальше двинемся, разгромим все берега и с честью умрем, но не поддадимся.

– Вася, зачем умирать?

– Я?.. Мы?.. Никогда сроду… Будем жить бессчетно лет… Все прошли с боем, с огнем… Полный оборот саботажа, весь путь под саботажем… Зато и задали же мы им дёрку… Гайдамаков били, раду били, под Белградом Корнила шарахнули, на Дону с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, на севастопольском рейде офицеров топили в пучине морской: камень на шею и амба, вспомнили мы им, драконам, «Потемкина» и «Очаков».

– С корню долой!

– Справедливо, дядя… Раз офицер – фактически контрик… Бей с тычка, бей с навесу, бей наотмашь, хрули гадов, не давай лярвам пощады ни на рыбий волос… Про Мокроусовский отряд слыхал? Наш отряд, Черный флот… Офицеров своих аля-аля – пополам да надвое, теперь сами себе хозяевы… В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собрания и митинги, митинги и собрания… На дню выталкиваем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся – бей контру, баста!..

Кованое море было полно ленивой, играющей силы.

На рейде, выстроенные в кильватерную колонну, разукрашенные праздничными флагами, дымили корабли. По утрам с дредноута «Воля» по всей эскадре малым током передавалось радио: политические новости, приказы, поздравления или извещения вроде следующего:

В
сем
всемв
семсего
днявечеро
мвгорсадуот
крытаясценана
вольномвоздухек
онцертмитингшампа
нскоебалдоутравходс
вободныйвоенморыпригл
ашаютсябезисключениядаз
дравствуетдаздравствуетдол
ойдолойдолойдаздравствуетсво
бодныйЧерноморскийфлотТройка

Максим в бинокль разглядывал могучие туши кораблей, грозные башни, прикрытые чехлами орудия и дивился:

– Силушка…

– Весь Черноморский флот, – приосанясь, сказал Васька, – а команды на берегу… Двенадцать тысяч моряков на берегу, подумай, сколько это шуму?.. Хоромы, дворцы трещат, гостиницы и дома буржуйские от моряков ломятся… О совете здешнем лучше не говорить и слов не тратить. «Качай шампанского», – и кислый совет из подвалов Абрау-Дюрсо перекачивает на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая, твердая цена. Ночью загоняем всех рысаков, перетопим лихачей в вине и керенках, до смерти захочется на автомобилях покататься, а автомобилей в городе нет. Ватагой подступим к совету и давай его штурмовать. «Гони авто! Тыл, штатска провинция, душу вынем! Го-го-го, отдай, а то потеряешь!». Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый, а у самого золотые зубы от страха стучат: «Товарищи…» – «Долой…» – «Товарищи, я сам три года кровь проливал, но автомобилей в совете нет. Вы, как сознательные, должны…» – «Ботай! Куда подевали? Пропили? Немцам бережете?.. Душу выдерем и рукавичек нашьем…» – «Товарищи, – плачет член, – не терзайте меня, у меня мать старуха…» А мы авралим, а мы для забавы кверху стреляем… Член думает, что в него промахиваемся, то за стенку спрячется, то опять в окошко выглянет и крутится, вредный, и вертится, как змей в огне: «Я, кричит, не против, я, кричит, сам фронтовик… Вместо машины в награду за вашу храбрость совет выставит шампанского по бутылке на брата…» – «Мало. Тоже фронтовик, нажевал рыло-то…» Рядимся-рядимся, получим по две бутылки на брата да по две на свата и с честью отступим.

Моряк без умолку рассказывал о порядках в городе, о фронте, вспоминал чудачества и геройские подвиги друзей.

Внизу по улице с лютым воплем, гармонью и бубенцами промчался свадебный поезд…

Васька перевесился через перила балкона, облизнул потрескавшиеся красные губы и заговорил еще с большим азартом:

– Девочки-мармулёночки все до одной за нами… Свадьбы вихрем, сплошная гульба… Свадьбы каждый час, каждую минуту… Невесты – за пучок пятачок… Шафера, подруженьки, все честь честью. И колец хватает, колец мы нарубили с пальцами у корниловских офицеров… Во всех церквах круглые сутки венчанье, лохмачи осипли, музыка крышу рвет… Власти много и денег много, все пляшут, все поют, пыль в небо… Пьянка, гулянка, дым, ураган, – ну, жизня на полный ход!..

– Вася, – прервал его Максим, подвертывая бинокль, – никак не разберу, что такое болтается?

– Где?.. – Матрос припал к биноклю и расхохотался. – Так это ж лапоть…

– Чего?

– Покарай меня бог, лапоть… Он доказывает наш свободный дух… Расступись, ботиночки, сапожки, лапоть топает…

Откинувшись на спинку плетеного кресла и устало прикрыв воспаленные глаза, Васька умолк. Он проспал несколько минут, потом встряхнулся, вытащил из кармана лакированную коробочку с кокаином, крупной понюшкой зарядил раздувающиеся ноздри, закрутил от удовольствия головой и, шлепнув Максима по костлявому заду, досказал:

– На кораблях согласно приказа подняты красные флаги, но нашим чудакам этого мало… Каждый хочет свою моду давить… Украинцы рядом с красным вывешивают желто-голубой, молдаване свой национальный флаг выставляют, а мы, русские, али хуже других?.. Красный у нас есть, еще старое андреевское знамя поднять будто неловко… Вот мы на страх врагам и вздернули над кораблем наш расейский лапоть – пускай вся Европа ужасается…

Максим, веря во всемогущество друга, не терял надежды добыть оружие. Он не отставал от моряков ни на шаг. Васька ни о чем и слушать не хотел, так как в тот самый день женился.

…Васька с Маргариточкой за свадебным столом сидят и друг дружке улыбаются. На нем вся матросская справа и оружие всевозможное понавешено. На ней новая форменка – женихов подарок… Куражится Васька, уцепил невесту за хребеток, в губки целует, вино пьет, стаканы бьет, похваляется:

– … в натуральном виде, с подливкой. Ржет братва, на слово не верит.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Го-го!

– Го-го-го!

Васька сердится.

– Что я вам, – говорит, – чувырло какое?

Из двух кольтов попадает Васька – на спор – в пустые бутылки, понаставленные на рояль.

Бабы визжат, братва потешается…

– Отчаянный вы народ, флотские, – кричит Максим через стол, – а я, а меня, оружие… Ждут станишники.

– Какое тебе оружие, ежели я женюсь? Отгуляем, отпляшем и…

Чечетку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, локти на отлет:

– Рви ночки, равняй деньки!

Отяжелевшая голова Максима падала на стол, но взрывы веселья заставляли его таращить глаза…

В углу моряки играли в карты. На кону – золото, часы, кольца; керенки не считали, а отмеривали на глаз.

Тесть с картонной грудью и в измятом, сдвинутом на затылок котелке плясал камаринского на демократических началах. Гости над ним потешались, покрикивали:

– Уморушка, Татьянушка.

– Тряхни брылами, повесели морячков…

– Нет, спой-ка ты нам «Яблочко»…

– Сыпь, буржуй, на весь двугривенный.

Теща дышала над молодыми:

– Девушка она у меня чуткая, деликатная и умница-разумница… Гимназию с золотой медалью окончила… Вы, Василий Петрович, уж, ради бога, будьте с ней понежней… Она совсем, совсем ребенок…

Ваську от умиления слеза прошибает. Васька перед тещей пылью стелется:

– Мамаша, да разве ж мы не понимаем?.. Мамаша, да я в лепешку расшибусь!

Маргариточка за роялем трень-брень… Ее восковой голосок тонет в мутном, утробном реве…

Я на бочке сижу,
Ножки свесила,
Моряк в гости придет,
Будет весело…

На улице под окном песню подхватили с присвистом, брызнуло стекло, и – в раме – рожа дико веселая.

– Э-э, да тут гулянка?

Под окнами летучий митинг:

– Свадьба…

– Фарт.

– Залетим на часок?

– Вались, лево на борт…

Жених высунулся из окна и, смутно различая белевшие в темноте рубахи моряков, зазывал:

– Заходи, ребятишки, места хватит, вина хватит, заходи…

Э-э, яблочко
На тарелочке,
Надоела жена,
Пойду к девочке…

Дом гудел и стонал…

Выпили все шампанское, весь спирт и всю самогонку… Под утро тесть привез корзинку прокисшего виноградного вина – не разбирая, и его выпили… Спали вповалку на битой посуде, на растоптанных объедках. Похмелялись огуречным рассолом.

Кто-то хватился Васьки

Васьки не было…

– Ах, ах, где молодой?

– Нету молодого, пропал молодой!

Теща плачет, в батистовый платочек сморкается… Маргариточка белугой ревет, охорашивает ягодки помятые… Шафера выжимают из бутылок похмельку, к подругам Маргариточкиным присватываются…

Кинулся Максим Ваську искать, нету Васьки.

Оказывается, на фронт махнул, а, может быть, и не на фронт. Вечером будто видали Ваську – в городском театре зеркала бил… А потом слух прошел, будто влюбилась в Ваську артистка французская… Зафаловал Васька артистку – раз-раз, по рукам и в баню… Лафа морячку, куражится, подлец: «Артистка, прынцеса, баба, свыше всяких прав». Пришли товарищи поздравлять дружка и видят: артистка не артистка, а самая заправская – страшнее божьего наказанья – чеканка Клавка Бантик… Кто ж не знает Клавки Бантик?.. Перва б… на всей планете. Васька, на что доброго сердца человек, и то взревел:

– Ах ты, кудлячка…

Плеснул ей леща-другого, и в расчете – бесхитростный Васька человек.

Стонут, качаются дома

пляшут улицы…

Прислонился к забору китаец – плачет, разливается:

– Вольгуля, мольгуля…

Выкатились из гостиницы моряки и навалились:

– Что означают твои слезы?

– Вольгуля, мольгуля… Моя лаботала-лаботала, все деньги плолаботала, папилоса нету, халепа нету! – Слезы эти из него так и прут. – С каким палахода?

– Хо, хо, бедолага, сковырни слезы, едем с нами…

– Моя лаботала…

– Аяй, шибко куеза, кругом свобода, а ты плачешь?.. Эх, развезло, размазало, стой, не падай!..

Могучие руки втолкнули пьяного Максима в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком… Ввалились в карету Васька Галаган, шкипер Суворов, еще кто-то… Сорвалась и понесла тройка, разукрашенная пестрыми лентами – и у лошадей праздник, и лошадям было весело…

С-в-и-ст!!!

– Пошел на полный!

– Качай-валяй, знай покачивай, кача-а-ай!..

– Рви малину, руби самородину!

Помнил Максим и станицу и фронт, на сердце кошки скребли, а слова его расползались, ровно раки пьяные:

– Вася, родной… Господи, братишка, в контрах вся Кубань, сорок тысяч казаков…

– Погоди, и до казаков твоих доберемся, и их на луну шпилить будем…

– За что мы страдали, Вася?.. Оружие…

– Не расстраивай, солдат, своих нервов… Всех беломордых перебьем, и баста… Останутся на земле одни пролетарии, а паразитов загоним в землю, чтоб и духу ихнего не было… Оружия достанем, дай погулять, дай сердцу натешиться вволю – первый праздник в жизни!

Городской театр трещал под напором плеч. На стульях сидели по двое, людями были забиты проходы, коридоры. Сидели на барьере, свеся ноги в оркестр.

Ставили «Гейшу».

Музыканты проиграли заигрыш, взвился занавес.

Очарованный китаец, вытянув тонкую шею и перестав дышать, смотрел на залитую светом сцену… Потом он начал смеяться и в лад музыке протопывать босой пяткой:

– Уф, моя халасо, товалиса!.. – По грязному лицу его были размазаны непросохшие слезы.

Васька с Суворовым, расставив по борту ложи бутылки, прихлебывали прямо из горлышка шампанское. «Гейшей» интересовались и языками чмокали?

– Вот это буфера!

– Вот это да-а-а…

– Брава-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а…

На заднем плане трое в карты перекидывались. Максим под стульями спал. Васька разбудил его.

– Поехали?

– Куда?

– За денежками на дредноут.

Через жарко дышащую толпу они вытолкались из театра и в своей карете покатили в порт.

На кораблях горели сочные огни.

Под твердыми ударами весел шлюпка летела, оставляя за собой искристую пылающую дорожку. Дредноут «Свободная Россия» выдвинулся навстречу, как огромная серая льдина.

С борта окрик:

– Кто идет?

– Свои.

– Пароль?

Моряк, пришвартовывая шлюпку к трапу, крепко выругался: по ругани вахтенный и признал своего.

Гремя сапогами, пробежали по железной палубе и спустились в кубрик.

Открыл Васька сундучок кованый: керенки, николаевки, гривны, карбованцы – все на свете… Подарил дружку цейсовский бинокль.

– Вот и портсигар бери, не сомневайся, портсигар – семь каратов…

Сунул Максим бинокль за пазуху, вертел в руках портсигар: и радовал подарок и смущал своим дорогим блеском…

– Может, зря это, Вася?

– Чего гудишь?

– За два оглядка куплено? – подмигнул Максим и неловко улыбнулся.

– Ни боже мой… Никогда и нигде грабиловки на грош не сочинили… Все у мертвых отнято. Скажи, браток, зачем мертвому портсигар в семь каратов?

Максиму крыть нечем.

– Показал бы ты мне корабль, экая махина, – сказал он, оглядывая железные, наглухо клепанные стены.

– Можно. Сыпь за мной.

Спускались в кочегарку, моряк рассказывал:

– У нас на миноносце «Пронзительном» триста мест золота на палубе без охраны валяются, никто пальцем не трогает, а ты говоришь – грабиловка… Тут, браток, особый винт упора, понимать надо.

– Неужто золота?

– Триста мест золота из киевских, харьковских сейфов… Мы, годок, за шалости своих шлепаем… У нас это просто – коц, брык, и ваших нет…

В кочегарке было черно и угарно.

Забитые угольной пылью, задымленные кочегары работали без рубашек. Из угольных ям на руках подтаскивали чугунные кадки, шыряли гребками в отверстые пасти печей, подламывали скипевшийся шлак. Скрежетали о железный пол, мелькали высветленные лопаты. Стенки котлов пышали палящим жаром. В топке, сверкая через решетку поддувала полными неукротимой ярости желтыми глазами, сопел и рыча ворочался огнище. Гудели, завывали ветрогонки.

– Ад, – сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыханье.

Наклоняясь к нему, Васька кричал:

– Это что!.. Два котла пущены!.. Это что!.. Вот когда все десять заведем, уууу! Жара под семьдесят! Ветрогонки старой системы, тяга слабая, жара под семьдесят… Да ведь надо не сидеть, платочком обмахиваться, надо работать – без отверту, без разгибу работать: не пот, кровь гонит с тебя… – В глазах моряка полыхали отблески огней: в эту минуту он показался Максиму похожим на черта с базарной картинки. – Эх, в бога-господа, пять годиков я тут отбухал!.. Жизня, горьки слезы!.. Али и теперь не погулять?.. Первый праздник в нашей жизни…

Вылезли наверх и в той же шлюпке поплыли в сияющий огнями, гремящий музыкой город.

Наперерез, рассекая высоким носом встречную волну, пронесся миноносец «Керчь». За кормой, распластавшись, летело черное знамя, на знамени трепетали слова:

АНАРХИЯ – МАТЬ ПОРЯДКА

– Чего у них флаг не красный? – спросил Максим.

– Такой больше нравится.

– За кого они?

– То же самое за революцию… Состоят в распоряжении местного ревкома, но подчиняются только своей свободной революционной совести… Как-то зимой приплыл в Новороссийск из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Немало тут с солдатами митинговали, долго их уламывали и в конце концов уговорили наступать на Екатеринодар, свергать Кубанскую раду. Ладно, согласились, получили на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры-варнавинцы заартачились и объявили нейтралитет. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию, в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходит два дня, об офицерах ни слуху ни духу. Шлет ревком радиодепешу: «Где арестованные?». Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: «Свое мы дело совершили» – и больше ни звука… Чисто сработано?… Ха-ха-ха… Рыбаки нас костят на все корки – в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгают.

Над воротами городского сада плакат:

ШТАТСКИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Всё за матросами, черно от матросов.

На подмостках распевали и кривлялись куплетисты. В звоне струн и в вихрях разноцветного тряпья бесновались цыгане.

– Веселая дешевка, – сказал Васька Максиму, пробираясь меж столиками. – За тыщу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не люблю я денег пересчитывать, а денег этих самых у меня с пуд: пропивай – не пропьешь, гуляй – не прогуляешь…

– Наследство буржуйское досталось?

– Никогда сроду… Ты, голова, не помысли на меня лихо… Полной обмундировки по пяти комплектов на брата мы получили? Получили… Жалованье за год вперед получили? Получили… Опять же и в карты мне везет, как проклятому… Вот и подумай, на сколько мой мешок потянет?..

Пировали за столиками, на открытых верандах, а то и так просто на траве, на разостланных шинелях.

– Эх, братишки, в бога боженят!

– Иисус Христос проигрался в штосс!

– Пей, все равно флот пропал!

– Бей буржуев – деньги надо!

Из множества глоток, подобная рыданью, рвалась любимая моряцкая песнь:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступ-а-ает…
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ает…

– Надоела вся борьба… Домой!

– Не хочешь ли на мой?

– Братишки, в угодничков божьих, в апостолов…

К песне налетали новые и новые голоса, ночь гудела и стонала от надрывного рева.

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,
Наверх якоря подыма-а-ют…

Клавка Бантик с цыганистой подругой исполняли танец «Две киски».

– Дамочки-мамочки, бирюзовы васильки…

– Цыганка Аза…

– Рви-рр-рр-рр ночки, равняй деньки!..

– Хорек, руби малину, не хочешь ли чаю с черной самородиной?

Жесткие мозолистые ладони хлопали, как ружейные залпы.

– Га, резвы ноженьки, верти, верти, верти!..

Плясали смоляные факелы, плясали моряки Рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погуляют вечерок-другой и на извозчиках покатят обратно на позицию. Позиция под боком – Анапа, Азов, Батайск, – кругом огонь, кругом вода.

– Ходи, отдирай пятки!

– Арра, барра, засобачивай!

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флота…

За столом сидели Максим, Васька, Ильин, шкипер Суворов, китай и деповский слесарь Егоров.

Максим к морякам:

– Вася, Илюшка, оборотите внимание: товарищ Егоров, черствая рука… В неделю два бронепоезда сгрохали; добре нам те бронепоезда на Тамани помогли… Законный пролетариат из рабочего строю… Глаза стращают – руки делают, руки не достанут– ребрами берут… Братишки, оборотите внимание.

Вытирая продранными локтями залитый стол, Егоров хрипло смеялся:

– …начальник мастерских против – мы его в тюрьму! Листового дюймового железа нет – добыли! Шестеро суток не спамши, не жрамши задували и действительно поставили на колеса два бронепоезда… И наша копейка не щербата… И мы, значит, могём соответствовать… Тридцать годов работаю, а такого азарту в работе не видывал.

Васька тряс старому слесарю корявую руку и угощал всех вкруговую:

– Пей, гуляй, товарищи!..

– Пьем!

– Нынче наш праздник… Хозяин! – заорал Васька, поднимаясь. – Подавай ужин из пятнадцати блюд!.. За все плачу! Есть ответ!.. А беломордых передушим всех до одного, душа из них вон!.. Мы…

Хор цыганский:

На горе стоит ольха,
Под горою вишня…
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла…

Ээх, давай,

А ну, давай,

Пошевеливай

Давай…

И эх, даю,

На, даю,

Бери, даю,

Ра-а-асшевели-ва-а-аю…

Кажда башка весела

кажда башка бубен.

Где болит? Чего болит?
Голова с похмелья…
Нынче пьем, завтра пьем,
Целая неделья…

И эх, раз,

Еще раз,

Еще много,

много раз…

Егоров пить не пьет, а ус в бокал мокает и то к одному, то к другому моряку подсядет:

– Хорошие вы ребята, а пьяночка вас зашибает… В море не тонете и в огне не горите, а тут есть риск и утонуть и погореть, – не мимо говорит пословица: «Нет молодца, кой поборет винца»…

– Ты, отец, нам обедню не порть… Первый праздник в жизни…

– Не рано ли нам праздновать?.. Помни, ребятишки, враг не спит, враг наступает… Выпить? Почему не так, выпить можно, только… этого… не пора ли и за дельце браться?

Распалилось сердце Васькино, легко вспрыгнул на стол:

– Братва, слушай сюда…

И начался тут митинг со слезами, с музыкой.

Гра

Бра

Вра

Дра

Зра

С кровью

С мясом

С шерстью…

Васька Галаган ровно из огня слова хватал: о фронте он говорил грозно, о революции – торжественно, о буржуях – с неукротимой злобой… В углах губ его набивалась пена…

Максим с пятого на десятое рассказал про свою станицу, про бои с Корниловым.

Говорили все желающие.

Вот краткое и простое слово Егорова:

– …Перед нами стоит вопрос таков: где нам собрать силу на уничтожение врага? Сила у нас есть, только эта сила везде и всюду разбросана – кто гуляет, кто буянит, кто дома с бабой спит… Время зовет нас оставить вагоны, номера гостиниц, квартиры с мягкой мебелью, электрическое освещение и всякие гарнитуры … Наше место – в окопах!.. Бросьте вы, ребята, заглядывать в бутылки, шмар под ручки водить, раскатываться по городу на лихачах, посещать шикарные рестораны… Бросьте вы, товарищи, игру в проклятые карты и ругань в бога, Христа-спасителя, кровь, в гроб, сердце, в законы и в революцию… На фронт! На фронт!.. Пятьдесят годиков стукнуло, а коли надо будет, и в огонь и в воду пойду хоть завтра, хоть сейчас… Клянусь… Мой сын…

Старика с криком «ура-ура» принялись качать.

Огрызком карандаша Васька заносил в блокнот имена желающих ехать на фронт.

И под утро прямо из городского сада на вокзал двинулся партизанский отряд Васьки Галагана… Мерно качались широкие плечи и головы в бескозырках…

На вокзале моряки подняли на ноги все начальство, разбудили коменданта.

– Оружие!

– Не от меня зависит.

Галаган ему под нос маузер.

– Да я ж из тебя, гад, все поганые жилы по одной вытяну.

Покрутился комендант немного, но видит – податься некуда, и выкатил морякам вагон винтовок, вагон патронов и несколько ящиков подрывных материалов.

Две сотни винтовок Максиму досталось.

Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. На крышах пульмановских вагонов устанавливали пулеметы, на открытых платформах – орудия полевые и морские, снятые с миноносца.

Прослыша про выступающий на фронт отряд, на вокзал прибежали проститься рабочие, матросские девки и так просто жители.

Оркестр, речи, последние поцелуи.

Почерневший от усталости Василий Галаган подает команду «садись» и сам следит, чтобы кто-нибудь не остался.

Длянь, длянь, длянь…

Эшелон сорвался и, гремя буферами и сцепками, раскачиваясь на стрелках, сразу пошел на рысях.

Поезд мчится

огоньки

дальняя дорога…

Тяжелые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнем и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы пришельцев и орущим потопом хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань… Немцы заняли Ростов, из Крыма переправились на Тамань и с этих подступов грозили задавить весь благодатный юго-восточный край.

Немцы наседали по всему фронту. На Тамани они высадились со своими сельскохозяйственными машинами, и пошла работа – косили недозревший хлеб, прессовали и увозили все: муку, зерно, солому, полову; на Дону гребли пшеницу, мясо, шерсть, масло, уголь, нефть, бензин, железный лом и все, что попадалось под руку.

От Азова до Батайска, в колеблющейся щетине штыков, образовался фронт. На защиту родных рубежей и молодой революции встали ростовские и таганрогские красногвардейцы, кубанские партизаны, черноморские моряки под командой анархиста Мокроусова, шайка головорезов Маруси Никифоровой и всякие мелкие отряды с текучим составом людей.

Большинство отступающих с Украины повольников, не задерживаясь на кубанских землях, пробегали дальше.

Через узловую станцию Тихорецкую с музыкой, песнями и пьяными клятвами пролетали сотни буйных эшелонов… В салон-вагонах, перемешанных с теплушками, проследовали на Кавказ банды Чередняка, Самохвалова, Гуляй-Гуляйко, Каски, Тираспольский батальон. С боем прорвался и угнал за собой на Царицын поезд золота анархист Петренко – под Царицыном большевиками Петренко был расстрелян.

В июне Германия, в исполнение брест-литовского договора, предъявила Совнаркому ультиматум о сдаче Черноморского флота. Из Москвы – советскому правительству Кубано-Черноморской республики – радио: «Флот отвести в Севастополь, сдать немцам». И одновременно шифровка: «Немедленно затопить флот в Новороссийской бухте».

На местах замитинговали.

В Екатеринодаре и Новороссийске на многотысячных митингах выносились воинственные постановления: «Флот не топить, защищаться до последнего снаряда».

Голоса моряков разделились почти поровну. Среди черноморцев, как известно, в отличие от Балтики, были чрезвычайно сильны анархические, украинофильские и, особенно, эсеровские влияния.

За день до истечения срока ультиматума из Москвы приехали представители большевистского ЦК и настояли на исполнении приказа. На Новороссийском рейде были потоплены: линейный корабль «Свободная Россия», миноносцы – «Калиакрия», «Гаджи-бей», «Фидониси», «Стремительный», «Шестаков» и другие. Несколько кораблей, во главе с дредноутом «Воля», все же ушли в Севастополь и сдались немцам.

Через два дня после потопления флота в Новороссийск прибыла германская эскадра…

…Не успевший отступить с Украины вместе со всеми отряд Ивана Черноярова долго плутал по Дону, по тылам немцев, пробившись в Сальских степях через фронт, повернул на Кубань отдыхать и пополняться.

В весенний праздничный день, когда улицы были полны гуляющим народом, отряд вступал в станицу.

В тучах жирной пыли широким твердым шагом шли одичавшие за долгую войну солдаты Западного фронта.

Матросы – первые удальцы и в боях и в грабежах – держались обособленными кучками, не мешаясь с другими. Обветренные лица их были черны от пыли, глаза горели решимостью и яростью.

Простоватых кареглазых парней и усатых мужиков Приднепровщины ото всех можно было отличить по серым мерлушковым шапкам и заскорузлым кожухам. Немцы выжгли их хутора и села, отобрали хлеб и скотину. Обалдевшие от горя, они, бежали, сами не зная куда, неся на себе лохмотья, полные вшей, а в сердцах неукротимую злобу.

В запряженном конями испорченном автомобиле тесно сидели очкастые юноши, до хрипоты распевая гимны анархии.

В ободранных экипажах ехали отпетые бандиты и шпанка больших южных городов. Из ведерного серебряного самовара они пили пенистое цимлянское вино и тоже горланили песни.

Разно одетая рота шахтеров замыкала шествие.

Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх застланы серыми от пыли коврами. Перемерявшие ногами всю Украину и Дон, загнанные лошади всхрапывали, прядали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов. Цокали высветленные подковы, погромыхивали пулеметные щиты, и орудия, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам. Накрашенные девки сидели в тачанках. В каждых девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Прикованный на цепь медведь бежал за возом и неистовым, тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в гаме многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор.

В голове отряда на караковой, легких арабских кровей, кобыле струнко сидел в седле молодой атаман Иван Чернояров. Шапка мелкого каракуля, примятая особым залихватским способом, еле держалась на затылке. Высокий загорелый лоб был открыт. Начесанный смоляной чуб свисал чуть ли не до плеча. Над губой резался первый ус. Скулы облеплял свалявшийся волос. В черкеске малинового цвета, туго перетянутый наборным узеньким поясом. Расшитый веселым узором мягкий азиатский сапог еле касался носком стремени.

Стремя в стремя с атаманом ехал, облаченный в саван, адъютант Шалим. Скуластое лицо его отливало чугунной чернотою. На поясе болтались обрез и вышитый кисет с махоркой, на пику была насажена добытая в последнем бою под Батайском седоусая голова немца в каске. Над мертвой, издающей зловоние головой вились мухи.

Богато пошатались кунаки с тех пор, как покинули станицу: гуляли по Дону и Волге, залетывали в Крым и после многих злоключений на Украине попали в банду атамана Дурносвиста. В огне и крови прошли всю Уманьщину. Однако Дурносвист вскоре был уличен в черной корысти и повешен своими же отрядниками. Выбранный ему на смену Сысой Букретов в первом бою испустил дух на пике сечевика. Чернояров принял командование над бандой и повел ее по древним шляхам Украины. Под Знаменкой дрались с гайдамаками, под Фастовым – с Петлюрой, под Киевом – с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан дисциплине и порядку, но на первых порах, чтобы расположить к себе людей, поважал укоренившимся в банде привычкам к грабежу, пьянству и всяческим бесчинствам. Потом, когда положение его укрепилось, круто повернул по-своему – сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но проку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Иван с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья, и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая, волчья жизнь вырабатывала свои права, которые не укладывались ни в какой писаный устав: смертью карался лишь трус и барахольщик, не желающий делиться добытым с товарищем, все остальное было ненаказуемо…

С Дону банда шла в восьми сотнях.

Лелеял Иван горделивые помыслы, как явится он в свою станицу ватажком, как старики во главе с отцом выйдут встречать его с хлебом-солью, как они будут упрашивать его принять в подарок чистокровного степного коня, как… Помахивал от нетерпенья плетью, остро вглядывался в лица высыпавших ко дворам станичников и досадовал, что никто будто и не узнает его.

В обозе хранилось немало отвоеванных знамен всевозможных цветов и отцветков. В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные кости, череп, восходящее – похожее на петушиный гребешок солнце – и большими глазастыми буквами грозные слова:

СПАСЕНЬЯ НЕТ
КАПИТАЛ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ

Весь отряд втянулся в улицу.

Атаман привстал на стременах, обернулся и хрипким баском скомандовал:

– Весело!

Трубачи, откашливаясь, разбирали с возов нагретые солнцем трубы. Кларнетисты, багровея от натуги, начали пробовать инструменты: на их щеках заиграли ямочки, казалось – музыканты заулыбались.

Оркестр хватил «Яблочко».

Две тачанки были сцеплены бортами и поверх, для звона, застланы досками. На движущийся помост легко вспрыгнула походная жена атамана и лучшая в отряде плясунья Машка Белуга. Повертываясь на все стороны, она охорашивалась. Ее крыла шляпа с большое решето, писаный гайдамацкий кушак туго перехватывал талию, обтянутые драгунскими штанами стройные ноги дрыгали от нетерпенья, а высокая грудь была увешана содранными с чьих-то грудей орденами за верную службу, медалями за усердие и выслугу лет, георгиевскими крестами всех степеней. Станичники, завидя атаманшу, по привычке к чинопочитанию подтягивались, а старый Редедя стал во фронт…

– Весело!

Машка кинула глазом туда-сюда, в ладоши хлопнула и пошла рвать:

Иисус Христос
Проигрался в штосс
И пошел до Махна
Занимать барахла…

Взвыли, закашляли, засморкались…

А божая мать
Пошла торговать…

Машка как топнет-топнет и понесла:

Буржавой ты, буржавой,
Хабур чабур лимоны[1](http://www.imwerden.info/belousenko/books/russian/veselyj_russia.htm%22%20%5Cl%20%22a1%22%20%5Co%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B.),
Кругом наше право
И наши законы…

Отряд застонал, закачался в гулком реве:

Кыки, брыки всяко право,
Гребем мы все законы…

Кто засвистал, кто принялся стрелять во взбунтовавшихся собак, и медведь, не переносящий лая, заревел во всю пасть.

Площадь не вмещала народа.

Не потешили старики Ванькину гордыню, не вынесли хлеба-соли и своей покорности.

Атаман поднял плеть.

– Стой!

Движение затормозилось.

Брякнув прикладами о черствую землю, стала пехота. Всадники опустили поводья, поспрыгивали с коней и начали разминать занемевшие ноги. Оборвался строй ликующих звуков оркестра. Умолк скрип колес.

Шалим, чуть коверкая слова, прокричал нараспев:

– Квартирьеры, разводи людей по квартирам!.. Бабы, разбирай постели, готовься к бою!.. Фуражиры, ко мне!

Над возами качали хохочущую Машку Белугу, вскидывая ее выше лошадиных голов. Матрос будил матроса:

– Тимошкин, вставай… Тимошкин, мужики горят!

Тимошкин не в силах был вырваться из объятий сна и только мычал. Ведро холодной воды ему на голову! Тимошкин, фыркая, поднял стриженую голову, воспаленные глаза его испуганно мигали:

– Где мы?.. В Таганроге?.. Горим или тонем?

– Хлюст малый, – заржали кругом, – с самого Дону не просыпался, всю неделю пьян был… Слезай, на Кубань приехали, сейчас с казаками драться будем.

Перед зданием станичного правления атаман остановился в раздумье… Потом, переборов себя, ступил на скрипучее крыльцо и, окруженный свитой, ввалился в помещение.

Члены ревкома – по углам.

– Кто у вас тут старший клоун? – спросил Ванька, окидывая зорким глазом вставших комитетчиков.

Григоров вышел из-за стола и протянул руку:

– Здравствуйте… Я – председатель ревкома.

– Откуда ты такой красивый взялся? – не подав руки и раздражаясь, вспыхнул атаман. То, что верховодит станицей не казак, а чужак, которого он и видел-то раньше лишь мельком, взбесило…

Шалима разбирало нетерпенье, перемигнулся с фуражирами и ротными раздатчиками, выкрикнул ругательство и рассек плетью зеленое сукно на столе.

Григоров откачнулся, поправил пенсне и насмешливо проговорил:

– Молодцы вы, ребята, погляжу я на вас…

– Помолчи, председатель, – угрюмо сказал атаман. – Не рад прибытию нашему?

– Что вы, что вы? – опять усмехнулся Григоров. – Все мы рады до смерти.

– Помолчи, председатель, да подумай лучше, как бы нас покормить, да и коней наших не заставляй дрожать от голода.

– Кому подчинен отряд? – спросил Григоров.

– Ну, мне.

– А ты кому?

– Черту.

– За кого же вы воюете?

– А ты что, начальник надо мной, меня допрашиваешь?

– У у, анна сыгы! – как укушенный завопил Шалим и взмахнул плетью.

Атаман удержал его руку. У дверей загалдели:

– Дай ему, Шалим, по бубнам.

– Али на базар рядиться пришли?

– Правильно, будя волынку тянуть, люди голодны, лошади не кормлены.

– Карабчить его, и концы в воду.

– Уйми своего молодца, – сказал Григоров, – прикажи убраться отсюда лишним, тогда будем говорить о деле.

– Гонишь? – прищурился атаман, и ноздри его затрепетали.

– Гнать не гоню, но разговаривать сразу со всеми не желаю.

– Храбрый?

Григоров промолчал.

Не спуская с него глаз, атаман с нарочитой медлительностью вытянул из коробки маузер, спустил предохранитель и выстрелил через голову председателя в стенку.

– Гад…

Вбежал Максим.

Григоров стоял прямо. Сразу осунувшееся лицо его было серо, глаза немы.

– Вот стерва! – в восторге закричал Иван. – Не боится ни дождя, ни грому… Пойдешь ко мне в штаб писарем?

Максим сразу сообразил в чем дело, загородил собою Григорова и, стараясь придать голосу твердость, заговорил:

– Стой, Иван Михайлович… Напрасно ты нашему председателю обиду чинишь… Он расейский и порядков наших не знает.

– Чего же он порядков не знает?

– В председателях недавно ходит, потому и не знает… Станица у нас на беспокойном месте… Ты вот пришел – по зубам бьешь, а завтра кто залетит – в зубы даст: никак невозможно больше недели в председателях высидеть, морда не терпит.

– Морда не терпит?.. – Иван засмеялся.

Прорвался гогот всей свиты: хохотали, захлебываясь чихом, кашлем.

Высмеявшись, атаман спрятал маузер, торопливо – не попадая огнем в трубку – закурил и изложил свои требования.

– Выставим в срок, – пообещал Максим, – и угощенье, и хлеба печеного, и овса, и всего что полагается предоставим в точности… Будьте покойны, Иван Михайлович.

– Ты меня помнишь?

– Дак вы ж Михаилы Черноярова сынок? Как не помнить…

Ванька хотел было что-то спросить про отца, посдержался. Оглядел внимательно Максима:

– Чей таков?

– Максим Кужель… Я тутошний.

– Комиссар?

– Я простой, – ответил Максим.

– Ну, гляди, не исполнишь приказа, голову сниму.

– Будьте покойны, предоставлю.

– Добре. Хлопцы, гайда!

Гости ушли.

– Чего будем делать? – спросил Васянин.

– Послать на фронт вызывную телеграмму, – предложил Меденюк, – вызвать Михаила Прокофьевича с полком, он их угостит…

– А не попытаться ли разоружить банду своими силами? – сказал Григоров. – Добром с ними, как видно, не поладишь…

– Народу надежного не хватит…

– Винтовок и патронов я привез, – сказал Максим, – а народу, пожалуй, и не наберем.

– Где винтовки?

– На станции… И Галаган на станции, паровоз починяют…

Он коротко рассказал о своих мытарствах в городе, о встрече c моряками.

– Не взять ли твоего Ваську за бока? – спросил Григоров.

– Вряд ли их, чертей, уломаешь… На фронт торопятся и злые до бесконечности: дорогой бить было некого, так они все в телеграфные столбы стреляли.

– Все-таки надо попробовать связаться с ними… И немедленно…

– Попытать можно…

Комитетчики, распределив между собой районы, отправились по станице собирать дань для нашельцев, а Максим с Григоровым побежали на станцию.

Приготовления к пиршеству начались еще засветло.

Тесно показалось в хатах. Столы были вытащены на улицы и площадь. Под окнами кухонь, ровно пьяницы у кабаков, увивались собаки. Засучив рукава и подоткнув исподницы, бегали раскрасневшиеся бабы. Столы ломились под обилием угощений: караваи пшеничного хлеба, пироги с мясом, жареная птица, соленые арбузы, чугуны дымящейся баранины, ведра кислой капусты и моченых яблок.

На площади за богатым столом, развалившись на вытертом плюшевом диване, сидел окруженный приспешниками Иван Чернояров. Со своего высокого сиденья – под ножки дивана были подложены кирпичи – он видел всех, и его все видели.

Вестовая серебряная труба проиграла сбор.

Люди расселись за столы

атаман поднял руку:

– Хлопцы…

Площадь притихла…

Атаман не любил многословия, краткая речь его была подобна команде:

– Хлопцы, нынче гуляй, завтра фронт!.. Как мы бесповоротно зараженные революцией, не поддадимся ни богу, ни черту!.. Дальше пойдем с открытыми глазами, грудью напролом! По всему белу свету пойдем, пока ноги бегают, пока кони носят нас!.. Кровь по колено, гром, огонь!..

Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы. Площадь гремела:

– Ура батькови!..

– Будем панов бить, солить!

– Отдай якорь!

– Вира… Ход вперед.

– Гу-гу-уу…

– Спаса нет, капитал должен погибнуть!

– Хай живе отоман и вильное товариство!..

Крики схлынули, понемногу заглохли.

Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабьи визги да жаркий смех.

В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.

Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры на свою беду плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах – проклятия и зубовный скрежет, обольстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и эсерам победу – они возглавили городские думы и рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на пятак. Владельцы отсиживались в своих особняках. Конторщики по-прежнему обжуливали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки беспрерывно повышались. Наконец терпенье горняков лопнуло.

Зашумели забастовки.

Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Десятки тысяч безработных с лютой злобой в сердцах и с пустыми котомками за плечами побрели из Донбасса на все стороны. Но вот по всей стране хватила Октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудники казаков. Шахтеры взялись за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки наполовину опустели – дома оставались бабы да кошки. Работа на рудниках замерла. Сезонные шахтеры разошлись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к красным отрядам Сиверса, Жлобы, Антонова-Овсеенко; немало чумазых увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов… Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхнедонских округах и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за бандой Черноярова…

Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.

– Во! – сверкая из-под окровавленного бинта загноившимся глазом, размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. – Это жизня!… Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными щами пахнет, а нынче вот оно… Радуйся, душа, ликуй, брюхо!

К нему тянулись чокаться.

– Распускай пояса, наедайся про запас.

Винтовки были составлены в козла.

Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками.

Два парня палили над костром насаженную на пику свинью.

Черные, проросшие грязью руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством, по щетинистым подбородкам стекал жир.

В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки барахольщиков бродили из двора во двор. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.

Грохот в дверь:

– Хозяевы…

– Дома нету, – отзывается из-за двери дрожащий голос, – одна я с ребятишками.

– Оружие есть?

– Боже ж мой, да какое у меня оружие?..

– Отпирай… Обыск.

– Ратуйте, православные!

Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.

– Говори, куда пулеметы спрятала?.. Где сундуки?.. – Придушенный шепот: – Гроши е?

– Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка…

– Нам тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи…

– Карау-у-у-ул!..

– Тю!

Под железными пальцами хрустит бабье горло.

– Товарищи… Черти, у меня и мужа-то убили на германской войне… Почитайте документы.

– Мы неграмотны.

Из сундука летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.

– Ломи шубу!

– Не дам… Не дам шубу!

– Брось, баба, зачем тебе шуба?.. Тебя твоя толстая шкура греть будет.

Дом после обыска, как после пожара…

Из дворов выходили с узлами. Озираясь и пересвистываясь, убегали в свой табор.

Атаман, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и кричал:

– Хлопцы, все ли пьяны, все ли сыты?

Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.

Плачущие бабы ловили его за полы черкески:

– Шаль ковровую… Золото.

– Кто ж тебе виноват?.. Прятала бы дальше.

– Растрясли… Обобрали…

– Не наживай много, не отберут.

Старый казак Редедя повалился атаману в ноги.

– Сынок… Ваня… Овес выгребли, двух коней с бричкой угнали…

– Ограбили? – спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки. – Иди, Сафрон Петрович, и ты кого-нибудь ограбь.

Кругом заржали.

Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в стороне, за церковной оградой, послышался знакомый смех.

Атаман остановился, повел ухом…

Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста, ахнув, выпорхнула, как куропатка, растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Лященко.

Иван, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:

– Ты что ж, трепки захотела?.. Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву.

Машка попятилась:

– Я тебе не наймичка… Я сама себе вольная.

– Цыма, сука семитаборная! – бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал. – Гайда за мной!

– Дудки…

Сверкнул кинжал, пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его: в руке атамана осталась одна рукоятка. Шахтер загородил Машку и поднял кулак:

– Отнюдь!

– Ты… в чужое дело не тасуйся.

Они сцепились и оба рухнули на землю.

Девка завизжала.

Набежали партизаны.

Дерущихся разняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартьянов. Повелительным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.

Атаман, оставшись с адъютантом с глазу на глаз, сказал:

– Шалим, приготовь за станицей две тачанки… Вымани лярву от этих коблов… Когда все будет готово – доложи… Я разорву ее лошадями.

Потянуло Черноярова домой. Захотелось хоть одним глазком глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.

Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.

Постучался… Сердце колотилось в ребра…

С хриплым лаем кинулись собаки… Калитку приоткрыл работник Чульча и, не узнав спросонья молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слва, Иван оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.

В сенных дверях его встретил сам Михайла.

– Батяня…

– А-та-та…

Иван сунулся было целоваться.

Старик оттолкнул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.

– Ты так-то, батяня? – глухо спросил он и пьяно икнул.

– Серый волк тебе батяня, огрыза собачья… Осрамил на всю Кубань… Отец с наградами да грамотами службу нес, а сын – разбойник…

Иван промолчал и прошел в горницу.

По лавкам, вдоль стен, сидели старики – Карпуха Подобедов, Трофим Саввич Маслаков, Селенкин, братья Чаликовы.

– Здорово, казаки, – неласково сказал вошедший.

– Поди-ка, добро пожаловать… Здоров будь, атаман молодой…

В голосах угадывалась насмешка.

У Ивана зашумело в ушах, злоба комом встала в горле. Огляделся… Коптила привернутая лампа. Старые, в дубовом окладе, стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален немытой посудой. Домашних нигде не было видно.

– Где же… все? – спросил он отца.

– А тебе кого надо?

– Ну, брательник?.. Бабы?

– На улицу побежали, твоими молодцами любоваться… Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган…

– Живы?

– Кашляем… Бог смерти не дает.

– Не ждали?

– Все глаза проглядели, – качнулся доводившийся Чернояровым дальним родственником рыжебородый Селенкин и всхлипнул:– Ваня, не срами ты наш род-племя, не иди за этими городовиками: они босяки, самая голота, а ты ж казак, наш родный казак…

– Он, может статься, и казаком уже себя не считает… Нынче ведь всех на граждан повертывают? – подкольнул старший Чаликов.

Иван вскочил и опять сел.

– За обиду и за большую грубу слушать мне речи ваши, старики.

Загалдели все разом:

– Творец небесный…

– Какой ты, братец, стал чванливый…

– Помнишь, парень, как я тебя с горохом на огороде поймал да, спустив портки, высек?.. Давно ли было?.. А?.. Что время делает?.. Господи, твоя воля.

– Зачем пожаловал? – спросил отец, подойдя к сыну вплотную и не сводя с него свирепых глаз. – Мимо своей станицы тебе мало дорог?

Иван сидел на лавке прямо, как в седле, и чувствовал на лице горячее дыхание старика.

Михайла, с силой распуская пальцы и вновь свертывая их в кулак, говорил сквозь зубы:

– Бесовский вихрь крутит тебя?.. Лба не крестишь?.. В кабак пришел?.. Шапку долой!

Иван пересунул шапку с уха на ухо и, задыхаясь от обиды, туго выговорил:

– Уймись, батяня…

Отец сорвал с него шапку вместе с клоком волос и заорал:

– Руки по швам, сукин сын!

Иван бросился к двери, но первый же удар навесистого отцова кулака заставил его волчком завертеться по горнице… Он упал под ноги старикам, стукнулся затылком о чугунную ножку швейной машины и потерял сознание. Михайла сыромятным ремнем прикрутил сыну руки за спину и бросил его в подпол.

– Вася, друг, выручай.

– Чего там у вас?

Максим бегло рассказал, Григоров добавил.

– Какой он партии? – спросил Галаган.

– Партия дери-бери… Кадушки-рядушки, ни с чем не расстаются.

– Далеко ль до станицы?

– Версты две.

Галаган оглядел набившихся в штабной вагон моряков.

– Ну, как, ребята?

Моряки, ссылаясь на незнакомство с обстановкой, заговорили разно. Одни советовали не ввязываться не в свое дело, другие невразумительно мычали, многие склонялись к мысли, что нужно дождаться утра, выяснить положение и уже тогда приступить к разгрому банды.

– Товарищи, – сказал Григоров, – время не терпит… Меня удивляет, товарищи, ваша нерешительность… Дело ясное, банду необходимо разоружить, и чем скорее, тем лучше.

– Не горячись, председатель, тут игра кровью пахнет, – осадил его Галаган и обратился к своим: – Кто пойдет со мной на разведку?

Вызвались почти все.

Он выбрал двоих – шкипера Суворова и рябого атлета Тюпу, отдал распоряжение выставить усиленную охрану и приказал никому не отлучаться из эшелона до его возвращения.

Григоров мигнул Максиму:

– Валяй с ними.

Максим схватился:

– Вася, и меня прихвати. Я тут каждый шаг степи и все лазы наперелет знаю, мигом доведу.

Вчетвером они вышли из вагона и, как бледные тени, пропали в лунной степи.

Над станицей – зарево.

В черных садах костры.

На высоком крыльце нарядного домика кучка пьяных штурмовала попа Геннадия. Один шашкой срезал его седые космы, другой тянул с него штаны и припевал:

Яблочко,
Революция…
Скидавай, поп, штаны,
Контрибуция…

– Детки, помилуйте…

– Едем с нами, у нас пулеметчика в роте не хватает.

– Сыночки, пожалейте.

– В кашевары его…

– В кобыльи командиры!

Постращав, попа отпустили. Подобрав полы подрясника, он побежал прочь от своего дома, из окон которого на улицу летели пустые бутылки, консервные банки, громовой хохот и девичий визг да вопли.

Между столами, вздымая пыль, мчались танцующие пары. Через костры, сверкая голяшками, прыгали девки. Кто спорил о политике, кто просто так развлекался. Упившиеся валялись вповалку.

Бритомордый эстрадный куплетист и чахоточный, с торчащими бескровными ушами, солдат стояли друг против друга, как драчуны, и ругались на спор – кто кого переругает. Под ноги им прямо на землю был набросан ворох мятых денег, пачки папирос, сломанный бинокль, серебряная спичечница – все это предназначалось победителю… Ругателей окружали гогочущие знатоки и тонкие ценители матерщины.

Матрос Тимошкин, держа в зубах кинжал, а в руках по букету сирени, выбивал на столе чечетку.

Со всех сторон его ругали и подбадривали:

– Ножку, ножку дай!

– Класс!..

– А ну, пусти тройную дрель.

– Чаще! Чего ты глистов вытрясаешь, чаще!.. Дай три тыщи оборотов в минуту.

Со стола валились бутылки, сползали тарелки.

Галаган выпил с солдатами, повертелся среди матросов, на воровском языке перебросился шуткой с блатными, поболтал с державшимися отдельной компанией анархистами, подтянул шахтерам – песнь рвалась из их крепких глоток подобно волчьему вою. Потом Васька разыскал своих спутников, отвел в сторону и дал краткие распоряжения.

Максиму:

– Две парных брички за станицу, к мельнице… Скоро!

Шкиперу Суворову:

– Шахтерского командира – вон, вон пошел! – вымани за станицу, придержи до моего прихода. Понятно? Живой ногой!

Моряку Тюпе:

– Ты, годок, выбери солдата с бородой погуще и волоки за станицу.

– Ладно, – промычал Тюпа и переспросил: – Сбор у мельницы?

– Да. Через полчаса. Кругом арш.

Разошлись.

По окраине площади толпились станичники и вполголоса переговаривались:

– Вот она камуния…

– И вовсе, бабочки, это не камуния… Анархисты, слышь, да какие-то экспроприятели.

– Приятели… Мне бы хорошую казачью сотню с плетями, я бы им раздоказал…

– У дедки Сафрона двух коняк свели.

– Захотят, и жену со двора сведут…

– Я бы обеими руками перекрестился, коли на мою бы Дуняху кто позарился, – сказал молодой и красивый Лукашка. – Такая она у меня… ууу!

– …и жену сведут, и крест с шеи снимут… Отвернулся от нас господь-батюшка.

– Беда!

– Наши комитетчики тоже, видать, хвосты поджали?

– Куда там!

– До хорошего дожили… Свобода.

– Не раз и не два вспомним слова покойника Вакулы Кузьмича: «Это стыдно – жить без царя!»

– Понес, статуй губатый.

– Погоди, Сережка, пороли мы вас, молодых, и еще пороть будем, дадим память…

Остап Дудка горячо дышал Лукашке в ухо:

– Кони… Вино… Деньги… Чернояров будет рад нам, как-никак свои станишники… Двинем?

Лукашка мялся:

– Не, Остап… Дай подумать… Банда не бывалошная лейб-гвардия, в банду завсегда легко попасть.

Моряк Тимошкин бесом вертелся в толпе и рассказывал:

– …Немцы обдирают Украину, как козу на живодерне. Гайдамаки торгуют на два базара – и германцы им камрады, и Скоропадский отец родной… Мы не захотели гайдамацкому богу молиться и драпанули сюда. Чистыми шашками прорубились через все фронта, пулеметы у белых добыли, а пушки под Каялом у красных забарабали…

– Надолго к нам, матросик?

– Не-е-е… Тут у вас водится мелкая рыбешка, а крупной буржуазной осетрины не видно… Нам тут быть неинтересно… Отдохнем недельку и всей хмарой назад посунем… Грудь стальная, рука тверда – вперед, вперед и вперед!

– А в Крыму, служивый, тоже бударага?

– Гу-гу… Война в Крыму, весь Крым в дыму – ни хрена не поймешь… Большевики продали в Бресте Украину, сейчас в Ростове с немцами мирные переговоры ведут, а завтра столкнутся с буржуями и запродадут всех нас чохом.

Через толпу проталкивается, оправляя растрепанные волосы, Анна Павловна.

– Товарищи, я не понимаю… Я несогласна… Идейный анархизм… Ваши… Швейную машину, я ею кормлюсь…

– Кто такая?

– Я – учительница.

– Учительница? Машину? Да разве ж это мыслимо! – возмутился Тимошкин и жирно сплюнул. – Да я ж их, кудляков, своим судом раскоцаю… Кто у вас, извиняюсь, не знаю имя-отечества, машину стартал?

– Где мне найти… Все вы одинаковы, ровно вас одна мать родила.

– Расписку дали?

– Вы смеетесь? Какая там расписка, думала, сама ног не унесу… – С надеждой она вглядывалась в веснушчатое оживленное лицо моряка.

Тимошкин ухмыльнулся.

– Шиханцы портачи, я их знаю. Ни живым, ни мертвым расписок не дают… Перестаньте, мадам, кровь портить, машину вашу разыщу.

Он убежал и действительно скоро вернулся с машиной.

– Вот спасибо, вот спасибо… – Она взялась было за машину, но тут же опустила ее.

– Тяжело? Донести? – подлетел Тимошкин.

– Если вы так любезны…

Всю дорогу Тимошкин врал о том, как он где-то на себе таскал якоря и паровые котлы.

Остановились перед школой.

Анна Павловна позвонила… Из-за двери трепещущий детский голос окликнул:

– Кто там?

– Это я, Оленька, не бойся.

– Мамочка, мамочка… – Дверь приоткрылась. Увидев незнакомого человека, дочь замолкла.

– Машину отыскала, слава богу, – сказала мать, – нашелся вот добросовестный товарищ, донести помог.

– Я так за тебя боялась, мамочка, так боялась.

– Заходите, товарищ. Как вас зовут? Не хотите ли чаю? Моряк поставил машину у порога и выпрямился, выпячивая грудь колесом:

– Позвольте представиться, моряк Балтийского флота, Илларион Петрович Тимошкин… – Он с чувством потряс обеим руки и обратился к дочери: – А вас Шурой звать?

Ольга удивленно повела бровью:

– Нет, не Шурой.

– Ха-ха… А я думал – Шурой… Люблю имя Шура… Но все равно… А чаю, между прочим, выпью с удовольствием: давно чай не пил, последний раз еще в Миллерове на вокзале чай пил…

На столе мурлыкал самовар. Анна Павловна заварила чай. Востроглазая Ольгунька, с голубым бантом на макушке, сидела ровно заяц, насторожив уши. С любопытством, смешанным со страхом, исподлобья она разглядывала моряка.

По первому стакану выпили молча.

Быстро освоившись, Тимошкин вынул карманное зеркальце, оправил прическу и спросил:

– Чего же вы, барышня, боялись?

– И сама не знаю… Страшно одной в пустом доме.

– Это справедливо, одному везде страшно. Был со мною под городом Луганском случай… Пошли мы как-то ночью в разведку…

Рассказал случай из своей боевой жизни, потом, забавляясь, погонял в стакане клюквинку и скосил глаза на Анну Павловну:

– И хорошее жалованье получаете?

– Какое там… – махнула она рукой. – Чуть ли не каждый месяц власть меняется, в школу никто носу не показывает.

– Возмутительно, – подскочила принимавшая близко к сердцу огорчения матери Ольга и выпалила запомнившуюся газетную фразу: – Вы понимаете, без народного просвещения все завоевания революции пойдут насмарку.

– Обязательно насмарку, – подтвердил моряк. – Им, сволочам, только пьянствовать. – Он небрежно полистал подвернувшийся под руку учебник геометрии и спросил: – Учитесь?

– В школе почти всю зиму занятий не было, дома с мамой немного занимаюсь…

Моряк горестно вздохнул:

– А я вот шесть годов проучился в гимназии, арифметики не понимаю, надоело. «Отпустите, говорю, мамаша, на военную службу». – «Не смей, дурак», – отвечает мне мать. Я не послушался и убежал во флот, скоро чин мичмана получу, я отчаянный…

Заложив руки в карманы широченного клеша, Тимошкин прошелся по комнате и остановился перед поразившим его внимание портретом старика в холщовой рубахе.

– Папаша?

– Нет, это писатель Толстой, – ответила Ольгунька, и в глазах ее вспыхнули веселые огоньки.

Со скучающим видом моряк подошел к глобусу и крутнул его: замелькали моря и материки.

– Где же тут мы находимся?

– Олечка, покажи.

Ольга остановила крутящийся, загаженный мухами шар и повела пальцем:

– Вот вам Европейская Россия, вот Украина, Кавказ…

– Вы там были?

– Где?

– Ну, в этой, как ее?… Европейской Украине или хотя бы на вершине горы Казбек?

– Нет, не была.

– Не были? – удивился моряк и с сожалением посмотрел на нее. – Ваша молодая жизнь кошмар-комедия… Нынче живем, резвимся, а завтра, представьте, подохнем и ничего не увидим… Хотите, дам я вашей судьбе, чудесное решенье?

Ольга вопросительно посмотрела на мать.

– Едемте со мной, – продолжал Тимошкин, приглаживая торчащие непокорными вихрами рыжие волосы. – У нас интересно: пища привольная, в мануфактуре или в чем другом недостатка не будет…

– Товарищ, чай простыл, – сказала Анна Павловна. – Иди, Оленька, тебе спать пора.

Дочь встала, поклонилась гостю и ушла за перегородку в отцов кабинет, где спала на диване.

Тимошкин поговорил еще немного о политике, о зверствах немцев и умолк – стало скучно болтать со старухой.

На огонек забрели новые гости.

Дверь заходила под нетерпеливыми ударами.

Анна Павловна, оправив трясущимися руками платок, вышла.

Моряк заглянул в комнатушку.

Ольга сидела на письменном столе, при появлении матроса вскочила.

– Вы… Вы?.. Что вам?

– Пойдем, барышня, гулять – на улице весело.

– Я?.. Нет, поздно… Слышите,там кто-то ломится? Побуждаемая желанием защитить мать, она метнулась к двери.

Тимошкин схватил ее за руку, рывком привлек к себе и поцеловал в пылающую щеку.

Она закричала не своим голосом, когтями ободрала ему морду и выскользнула из объятий.

– Барышня…

– Нахал… Убирайся сию же минуту! – Она терла щеку точно обожженную.

Тимошкин, выкатив помутневшие глаза и бормоча что-то невнятное, пошел вокруг стола.

Она загородилась креслом.

В дверях показались рожи.

Резко вскрикнула ударенная кем-то мать.

Ольга, непомня себя, бросила в матроса чернильницей, грудью ударилась в жиденькую оконную раму и в звоне стекла выпала в сад.

Моряк выпрыгнул за ней, перемахнул забор и, споткнувшись, растянулся на дороге.

Проходивший по улице Галаган поднял его и поставил перед собой:

– Откуда сорвался?

– Годок, не видал?.. Не пробегала такая курносая, губы бантиком?

– Не догонишь, далеко ушла.

Галаган разглядел Тимошкинову залитую чернилами рожу, но в темноте принял это за кровь.

– Ранен? Чем это она тебя шарахнула?

– Ну, ее счастье, что убежала… Все равно покалечу задрыгу, не уйдет от моей мозолистой руки.

– Брось, братишка, и хочется тебе с бабой возиться? – стал его Галаган успокаивать. – Пойдем со мной.

– Куда?

– Дело есть.

– Ящерица поганая, да я ж ее… Дело, говоришь, есть?.. А ты из какой роты?.. Чего я тебя не признаю?

– Сыпь за мной, потом разберемся.

Скоро они выбрались за станицу. У мельницы покуривали и негромко переговаривались четверо; пятый спал, свернувшись на бричке. Все расселись на две брички и погнали к станции.

В штабном вагоне сеялась полутьма, моталось пламя одинокой свечи, на столе шелушились хлебные крошки. Стены были увешаны картами, похабными карикатурами, оружием и одеждой уже полегших спать членов штаба. Спали они на ящиках со снарядами и взрывчатыми веществами, которыми было занято полвагона.

– Вставай, поднимайся, братва! – гаркнул Галаган, вбегая. – Встречай делегацию…

Тимошкин еще раньше смекнул, что попал не в свою… Пожимая руки членам штаба, он с тревогой спрашивал:

– Отряд?.. Черноморцы?.. Давайте соединяться.

– С какого корабля?

– С «Гангута». Балтик.

– К порядочку, – постучал Галаган по столу. – Товарищи, вы привезены сюда на боевое совещание… Дело такого рода… Отряду вашему отведены в станице квартиры, выставлено угощение, уважены все ваши партизанские требования…

– Давайте соединяться! – шумнул опять Тимошкин.

Галаган помялся, подыскивая подходящие слова, и снова заговорил:

– Пришли вот ревкомовцы, жалуются… Я им и поверил и нет… Дай-ка, думаю, сам разведаю… Мало ли у нас впопыхах творится дурости, но… Сам пошел и разведал… Откуда вы столько громщиков и шпанки понабрали?

– Мы, товарищ…

– Такую шатию надо разоружить, – продолжал он, – силы у меня хватит. Силой своей, безо всяких заседаний, мог бы всех вас по станице выстелить, но… – он возвысил голос, – зачем ненужную и лишнюю кровь лить?..

– Мы ж, товарищ дорогой, невинные…

– Революция с этим не считается. Будь сознательным-рассознательным, но раз ты – сукин сын, значит виноват.

– Брось балабонить, ближе к делу, чего ты хочешь? – спросил Тимошкин. – Вина? Гамзы?

– Буду краток. Надеюсь, товарищи шахтеры, товарищи моряки, товарищи солдаты помогут мне потрепать шпанку… Что вы молчите? – обратился Галаган ко всем. – Кто желает высказаться?

– Мы, фронтовики, – сказал пьяный, пьянее грязи, солдат, – мы на родину пробираемся… мы в Самарскую губернию, в Бузулукский уезд, стало быть, пробираемся и никому винтовок не сдадим… Как мне можно без винтовки, раз у вас тут кругом банды гуляют?

– Корешок, – взывал одновременно с солдатом и Тимошкин. – На своих руку подымаешь?.. Где твои ребята?.. Давай веди отряд в станицу, брататься будем…

Максим и Григоров ругались с командиром шахтерской роты.

– Чернояров, он такой… – кричал Мартьянов. – Вместе через фронт прорвались, с германом воевали… К тому же и от своих мест мы далеко ушли, нам на Дон возврату нет, и от атамана отстать нам невозможно… Бей, кроши, вырывайся, пропадай душа!

– Пойми, друг, – подступал к нему Григоров, – вреда от вашего атамана больше, чем пользы… Погуляете, засвищете, только вас и видели, а против советской власти вся округа подымется …

– Подымется?.. А зачем вы тут посажены?.. Бей с козла, топчи гадюк, чтоб и не хрипели!

– Верно, – сказал Максим, – гадюки шипят и из-под каждой подворотни кусаются, а тут вы еще безобразничаете…

– У нас в отряде ни одного контрика нет, – твердил свое шахтер. – Далеко мы от своих мест зашли, нас страх держит, куда без атамана денемся?.. Он парень – ухо с глазом.

Максим с Григоровым отжали шахтера в угол, продолжая убеждать.

– Какая ваша забота за буржуйское добро? – орал солдат. – Али им, удавам, пощаду давать?..

Егоров лез на солдата с кулаками:

– Вы же самая беднота, ваш долг революцию защищать, а не лазить тут по тылам баб щупать да сметанные горшки вылизывать… Со своими буржуями ревкомовцы и сами справятся, а наше с тобой место, суконное твое рыло, на позиции. У меня сын единственный на фронте погибает, сам не хочу даром жевать хлеб советский. Иду! Все идем на огонь, на штык, а вы тут молочко хлебаете?

Галаган поднялся и властно крикнул:

– Разговору нет, все решено… Именем революции приказываю…

– Хочешь загнать в бутылку и заткнуть? – перебил его Тимошкин. – Врешь, стерва, и сам далеко не упрыгнешь!.. – Он выхватил из-за пояса рубчатую, большой взрывчатой силы, английскую гранату и попятился к стенке, чтобы всех видеть. – Хана?.. – Перекошенное, в чернильных подтеках лицо его было полно решимости, рука с гранатой занесена над головой.

Галаган опешил.

Все замолчали.

В вагоне вдруг стало глухо, как в гробу. Тикающий часовой маятник точно пунктиром подчеркивал тишину.

– Стой, падло, – выговорил Галаган. – В вагоне две сотни снарядов и шесть пудов динамита. Ты можешь из всего эшелона смолу сделать.

Тимошкин, оскалив зубы, молчал… В глазах его испугу было мало.

– Застрели меня одного, ежели считаешь вредным, – продолжал Галаган. Затем, будто боясь кого испугать резкостью движения, осторожно отстегнул маузер и, держа его за дуло, положил на край стола ручкой вперед.

Еще большую минуту длилось молчание.

Тимошкин медленно опустил руку, подшагнул к столу и положил гранату рядом с маузером.

– Сдаюсь.

Егоров, стоявший ближе всех, хлестнул Тимошкина по уху:

– Печенег!.. Ты – пятое колесо в нашей коммунистической телеге…

– И я сдаюсь, – поднял солдат трясущиеся руки. – Я, братишки, сам служил в Дебальцеве в большевицком полку, только забыл его правильное названье… Я, братишечки, сам целый год направо и налево вел бесплатную агитацию.

– Ну, а ты? – в голос спросили несколько человек, обращаясь к Мартьянову.

– Я что ж… я ничего…

– Этот с нами, – ответил за него Григоров.

Шахтер начал распоясываться.

– Оставь оружие при себе, – сказал ему Галаган. – Беги в станицу. Поручаю тебе и твоим ребятам захватить батарею и атамана… Скажи своим людям, пусть сбросят шинели и рубашки, чтоб в бою я мог вас отличить от прочих.

– Будет исполнено вточности… Уж я сказал, так умерло… – Он пожал наспех руку Максиму с Григоровым и вышел.

В суматохе солдат успел улизнуть.

– Этого, – ткнул Галаган пальцем в Тимошкина, – списать…

– Счастье морское, – заплакал тот, подталкиваемый к выходу. – Братишки, за что? Я никому зла на копейку не сделал!

За вокзалом, у кирпичной, исклеванной пулями стены, Тимошкин отдал якорь.

– Как в эшелоне? – спросил Галаган.

– Спят.

– Поднять.

– Есть поднять, – ответил Суворов и передал дежурившему в дверях вахтенному:– Поднять людей.

Дневальный побежал по составу:

– Полундра!.. В ружье!.. В ружье!..

Из вагонов сыпались одетые и вооруженные моряки. Строились перед зданием станции.

– Скатить с платформы два орудия, – приказал Васька.

– Есть, – ответил Суворов и через плечо бросил вахтенному: – Приготовить два орудия.

– Командоры, к орудиям! – протянул нараспев вахтенный. Из темноты моментально откликнулись:

– Есть два орудия!

Отряд выстроен… Бубнили низкие голоса. В зубах вспыхивали раздуваемые ветром огоньки папирос. Лица были неразличимы.

Галаган с подножки штабного вагона выкричал, пересыпая матюками, краткую гневную речь.

Его выслушали в строгом молчании и, соблюдая полный порядок, вышли за станцию, развернулись в две цепи и быстро двинулись по темной степи.

Моряки вошли в станицу сразу с трех сторон.

Встревоженные улицы загудели…

Из дворов выкатывали тачанки, на лошадей на ходу набрасывали хомуты. Скакали всадники, бежали, отстреливаясь, солдаты, и часть обоза уже гремела по мосту…

В спину бегущим жители палили из дробовиков. Бесстрашные казачки рубчатыми вальками и ухватами молотили валявшихся пьяных.

Шахтеры на руках выкатили пушки на середину улицы и били по мосту прямой наводкой. Снаряды ложились удачно – мост запылал, по реке поплыли подушки, гогочущие гуси, чемоданы и картонки с барахлом…

**[Горькое похмелье](http://www.imwerden.info/belousenko/books/russian/veselyj_russia.htm%22%20%5Cl%20%22top)**

*В России революция – деревни
в жару, города в бреду.*

На армию навалилась вошь,

армия гибла.

Хлестала осень дождями, свинцом и кровью.

Кошмою полегли перебитые с сорняками неубранные хлеба. Осиротевшую ниву вытаптывала конница, опустошали мышиные орды, расклевывала пролетная птица. Над Кубанью, Тереком и Ставропольем реяли багровые знамена пожаров. Красные жгли хутора и станицы восставших казаков, белые громили мужичьи села и рабочие слободки.

Наседала зима.

С севера все чаще и чаще набегали холодные ветра, наголо раскрывая сады, шурша в степях мертвыми травами. Прихватывали утренники, лужи затягивало первым ломким ледком.

Бойцы были раздеты и разуты.

По одним путям, по одним дорогам с армией ползла и тифозная вошь. Здоровые еще кое-как отбивались от вошвы, больные – не могли.

Минеральные воды

Пятигорск

Владикавказ

Грозный

Святой Крест

Моздок

Кизляр

Черный Рынок…

Живые долго будут хранить в памяти эти кровавые вехи.

По всем городам и селам, хуторам и станицам бегущая армия покидала на произвол судьбы тысячи и тысячи своих раненых, больных, слабосильных. Этапные коменданты ставили к дверям лазаретов караульных с приказом никого из помещений не выпускать.

Те, кого сила несла дальше, забегали в лазареты прощаться.

– Братцы! Не волнуйся… Мы отступаем дня на три и опять вернемся.

– Врешь, серый!.. Завели нас и продали… Кадеты всех порубят.

– Не тронут… Увечного не посмеют тронуть.

– Да, лежал бы ты на моем месте с пулею в груди, не то бы вячел.

– Говорю, скоро вернемся, ожидайте.

– Кого и чего ждать? Палача с веревкой?

Срывались с коек.

– Братва, собирайся.

– Куда вы? Куда поднялись? Лошадей нет. Одежи теплой нет. Мосты в тылах порваны. Кормить вас нечем и самим жрать нечего. В дороге всем вам, калекам, верная гибель…

– Все равно пропадать. Бей телеграмму Ленину…

– Братцы, не покидайте!

Рыданья и скрежет зубовный.

– Не покидайте… Вместе воевали, вместе и умирать будем!

– Прощай, станишники… Прощай, друзья…

Стоны, вопли, последние объятья.

Отец заживо расставался с сыном, брат с братом и товарищ с товарищем.

Двери лазаретов наглухо заколачивались досками, из окон выпрыгивали – кто выпрыгивать мог. На костылях, в бреду, срывая с себя окровавленные повязки, они рвались вслед за отступающей армией: поддерживая друг друга, шли, ползли, валились и умирали… Много их, призасыпанных первым снегом и скрюченных, смирнехонько лежало по обочинам дорог.

Пепелища хуторов и станиц, скелеты городов.

Реввоенсовет армии еще заседал, слепо веря в силу своих решений, и, как ракеты, выбрасывал приказ за приказом:

Оттянуть армию за Терек… Переформировать части… Ввести жесточайшую дисциплину. Дать людям отдых… Связаться с 12-й армией… К весне готовить удар по Деникину…

А за зеркальными окнами штабных вагонов по разбитым шляхам день и ночь грохотали скачущие обозы и батареи, подбористым шагом текла кавалерия, двигались остатки 7-й, 9-й и 10-й боевых колонн, отбившиеся от главных сил части таманцев, поредевшие составы еще недавно стяжавших громкую славу полков: Михайловского, Пролетарского, Выселковского, Интернационального, Лабинского, 292-го Стрелкового, Крестьянского имени Щербины, Тимашевского, Кубанского внеочередного, Унароковского, Черноморского, Народного, 306-го Стрелкового и других. Украинские батраки и ростовские рабочие, станичная голытьба и таганрогские красногвардейцы, темрюкские рыбаки и буйствующие матросы, сутулые хуторские дядьки с бородами в целую овчину и безусые хлопцы. Полтавец шел плечо в плечо с тавричанином, китаец шагал в ногу с мадьяром. Отступали закубанские пластуны, отступали отважные латыши. Казаки молодых годов соперничали в джигитовке с ингушами и чеченцами; впрочем, горцы к тому времени уже начали разъезжаться по своим аулам, чтобы вскоре в тылах противника поднять знамя восстания. Линейки, повозки, телеги, арбы и тачанки грохотали, стремясь обогнать друг друга. Колеса проваливались в колдобины, изнуренные большими переходами лошади то останавливались, то под ударами кнутов и палок дергали из последних сил.

Вой, плач, проклятья и ругань.

Не успевали покормить лошадей и сами хоть немного отдохнуть, как свистали сотники и командиры громко подавали команду:

– Амму-ни-чи-вай!..

– Брюховчане, по коням!

– Запрягай, обозные… Рота, становись!..

– Каша на ложки, молодцы на ножки!..

Расхватывали хрустящую на зубах недоваренную кашу и выступали, на ходу подтягивая пояса, дожевывая куски. Никому не хотелось отставать от своей части, а те, которым хотелось, давно отстали или, перебив своих командиров и комиссаров, перебежали, или по горькой неволе попали в плен, и многие из них уже воевали под трехцветными знаменами контрреволюции. Немало перелетов, порубленных и пострелянных оружием белых, валялось в балках и придорожных канавах.

Оставляя за собой кровавый след, армия неудержимой лавиной откатывалась на Моздок, Кизляр, Черный Рынок. Железнодорожный путь на десятки верст был забит согнанными со всего края поездами: обмундирование, боеприпасы, дезертиры, лазареты, штабы несуществующих частей. Приказ – взрывать и жечь все, что не под силу увезти. Взрывали, жгли, тащили кто что мог. Иной, загребая грязь ногами, и пустой еле волочился; иной же, напялив на себя две, а то и три шинели, пыхтел с узлом барахла на горбу. Кабардинцы, карачаевцы и казаки восставших станиц под командой ватажков терской контрреволюции – Бичерахова, Агоева, Серебрякова – как шакалы рыскали по тылам, грабя застрявшие на проселках обозы, обдирая и добивая не имеющих силы защищаться.

Под Червленной отступающая армия встретила присланные из Астрахани на подмогу полки 12-й армии – Ленинский и Железный. У бойцов был молодцеватый вид, все в новых шинелях и в крепких – со скрипом – сапогах. Под расшитыми серебряным позументом знаменами астраханцы шли в полном боевом порядке и, кося глазом на оборванных партизан, кричали:

– Станишники, что усы повесили?

– Наковыряли вам казачишки?

– Эх, вы, Аники…

Кубанцы отбрехивались:

– Где вы раньше были, такие красивые?

– Дорогу назад не забудьте. Скипидару-то призапасли?

– Черти вислогубые… Вот погоди, кадеты вам уши-то оболтают…

Злые шутки, хохот, матерщина.

– Дядя, ось-то в колесе! Хо-хо…

– Помолчи, вшивая амуниция!

– Драть я тебя хотел.

– Кабы не ты да не Микита…

– Накрутят они вам хвосты, чихать смешаетесь!

– Песенники, вперед!

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…

Подхватили и понесли навстречу врагу гремящую песнь.

Оба полка, незнакомые с повадкою противника, в первом же бою под станицей Мекенской были окружены конницей генерала Покровского и почти полностью уничтожены.

Не густо оставалось в армии командиров и комиссаров: одни полегли в степях и горах; другие, бредя сражениями, метались в тифозной горячке; иные, побросав свои части, бежали в Закавказье или через Дербент морем в Астрахань.

По степной дороге бойко бежал автомобиль. На сиденье, откинувшись в угол кузова, дремал и поминутно просыпался человек в военной форме. Усталое лицо его было серо, на носу подскакивали золотые очки.

Бригада и полковые обозы тащились по дороге.

Хрипло взывал сигнальный рожок.

– Пропускай, гужееды, – сердито кричал шофер. – Передай передним, чтоб остановились.

Обозные огрызались.

– Вались к корове на…

Шофер:

– Сворачивай!

Обозные:

– Сам сворачивай. Ты один, нас много.

Шарахнулись и понесли пугливые степные лошади… Опрокинулась походная кухня с горячим борщом, опрокинулась санитарная повозка – завопили выброшенные в грязь раненые.

Машина крутнула и покатилась мимо дороги. Вдогонку – брань, проклятия и крики: «Стой! Стой!» Машина шла, прибавляя ход, кидая задними колесами ошметки грязи. Иван Чернояров обскакал машину и поставил коня поперек:

– Дави.

Шофер затормозил. Всадники окружили автомобиль.

– Кто такой? – спросил Чернояров человека в золотых очках. – Почему, в бога мать, давишь моих людей?

– Я – Арсланов, уполномоченный реввоенсовета армии. Что вам, товарищи, угодно? Мандат? Вот он… Я… .

– А партизана Ивана Черноярова знаешь? – перебил его комбриг.

– Слыхать слыхал, а знать не имею чести.

– Куда гонишь?

– Это не ваше дело.

– Он в Астрахань с докладом поспешает, – засмеялись бойцы. – Пусти его, ему некогда.

– Не считаю нужным давать отчет всякому встречному. Какая часть? Кто у вас командир? Я буду жаловаться… Трогай! – приказал он шоферу.

Машина зарычала. Никто не сдвинулся с места.

– Прочь с дороги, стрелять буду, – в руке его блеснул никелированный браунинг.

– Ну, знай Черноярова! – И, потянувшись с седла, Иван шашкой снес уполномоченному голову. – Братва, грузи на машину сто пудов фуража!

Всадники взвыли от восторга.

Армия отступала в беспорядке. Части перемешались, оторвались от своих обозов, потеряли связь со штабами, отделами снабжения. Тщетны были попытки отдельных нерастерявшихся руководителей упорядочить движение – никто и никаких приказов больше не слушал. Лишь два кавалерийских полка и бригада Ивана Черноярова кое-как прикрывали отступление.

Конница генерала Покровского гналась по пятам.

Бригада Черноярова ввалилась в Кизляр ночью.

В городе горели дома, хлебные амбары, лабазы. На вокзальных путях горели эшелоны с военным добром, гулко рвались ящики с бомбами, из огня с воем летели осколки снарядов. В горящих вагонах трещали – будто кто полотно драл – цинки с патронами. По улицам ни пройти, ни проехать – обозы, орудийные запряжки, брички со скарбом, застрявшие в грязи броневые автомобили. Квартиры забиты ранеными, больными, отдыхающими.

Не хватало фуража, хлеба, воды.

Соломенные и камышовые крыши были раскрыты и стравлены. Перепавшие лошади грызли задки повозок, столбы и заборы, к которым были привязаны. Те, что прошли раньше, роспили колодцы. Кто следовал за ними, вычерпывали грязь из колодцев. Отступающим в хвосте армии не оставалось ничего.

В Кизлярском районе – реки вина, вина – разливанное море. Из погребов и подвалов выкатывали бочки: пили, лили, из колод вином поили лошадей. Голодные лошади быстро пьянели, бесились, натыкались на заборы, лезли в огонь. Горланящие люди и пляшущие лошади брели в лужах вина. Пенистое вино плескалось в отблесках пьяного зарева.

За всадниками шли, хватаясь за стремена, мирные жители.

– Господа товарищи… Тридцать бочек…

– Мало взяли. Тебя и самого давно бы собакам скормить надо было… Я видел, как искалеченный боец выпрашивал милостыню, вы жалели кусок хлеба и гнали его от своих домов.

– Одежонку позабирали…

– Брысь!

– Меня твой казак ударил.

– Казак? Ну, так получай еще от сотника! – И плетью через лоб.

– Бочонок меду…

Эскадронный Юхим Закора придержал коня и залился злобным хохотом:

– Хлопцы, а ну!

Всадники гикнули и напустились на жителей – гнали их по тротуарам, топтали конями, секли по глазам нагайками, лупцевали тупиями шашек. А в затылок, запрудив узкую улочку, валом валила – напирала лавина пехоты, кавалерии, обозов.

– Давай ходи, не задерживай!

– Лабинцы, подтянись!

– Вира! Полный ход!

Пьяно, вразнобой гремели оркестры.

По грязи, высоко задирая юбки, плясала сошедшая с ума сестра. Волосы ее были растрепаны, зубы оскалены, сбоку болталась походная сумка. С возу – из-под брезента – выглядывали раненые моряки и потешались:

– Гоп, кума, не журися… Гоп, гоп, гоп!

– Садись, прокатим!

– Как я сестру прижму к кресту и скажу: «Сестра, приголубь ради Христа».

– Ого-го-го-го… Черти непромыкаемые!

И долго еще оглядывались на горящий город, махали шапками, стреляли вверх.

– Прощай, Кавказ!

– Прощайте, горы и леса!

– Вся Расея наша, ха-ха-ха!..

– Могила, гроб смоленый!

– Эх, расставайся душа с телом! Прощай белый свет и писаны лапти!

В суровые просторы зимней степи уходили – партия за партией, отряд за отрядом, полк за полком…

Бригада Черноярова спешилась на базарной площади. Бойцы сдали коноводам коней и замитинговали.

– Нас продали! – орал уже успевший хлебнуть косоплечий пулеметчик Чаганов. – Куда идем? На живодерню? Нас продали и пропили…

– Брось, Чаган, – унимал его дружок, Буцой. – Кто нас с тобой продал и кому? За нас с тобой пятака никто не даст.

– Измена! – кричал кто-то в другой кучке. – На фронте дрались наги и босы, а тут погорают целые вагоны с обмундировкой… На фронте не хватало снарядов и патронов, а тут их горы.

Голоса ропота.

– Амба.

– Все наши комиссары и командиры с чемоданами бегут и покидают нас.

– Один лозунг – спасай шкуру!

Чернояров протискался в самую гущу толпы и вспрыгнул на воз:

– Братва…

Голоса понемногу стихали, но еще долго там и сям недовольные урчали и, как поленьями, кидали матюками. Говорил Чернояров:

– Братва, кругом измена! В нашем распоряжении только мы и дух наш! Но настанет час расплаты, и моя железная рука жестоко покарает всех трусов и предателей! Долой панику! Долой уныние! Будем биться до конца! А кто не хочет оставаться в бригаде – сдавай в обоз свою партизанскую совесть, коня, винтовку и уходи с глаз моих долой!.. Братва, отступаем на Астрахань. Путь наш будет тяжел. Четыреста верст дикой калмыцкой степи. Ни воды, ни фуража. Здесь устраиваем дневку. Запасайся, кто чем сумеет. Выбрасывай все барахло. В походе будет дорог каждый лишний клок сена и каждая горсть овса. Сам буду осматривать кобуры и сумы. У кого найду хоть одну лишнюю тряпку – пощады не проси. Приказываю перековать коней на шипы. Приказываю проверить седловку, дышла, упряжь, сварку шин и клепку на повозках, чтоб ни один гвоздь не болтался. Обозу поднять пятьсот ведер вина. Здоровый будет получать по чарке вина на сутки, больной – по три. Береги коня. Завтра на рассвете выступаем. Митинг окончен. Без шуму расходись по квартирам.

Всю ночь на полный ход работали кузницы.

На заре бригада снялась и, пропустив вперед обоз, двинулась в свой последний поход. Все три полка отступали в относительном порядке. Эскадроны шли, как того требует полевой устав, переменным аллюром. Самые бывалые время от времени спрыгивали с седла и шагали рядом с конем, держась за луку. Иные ехали на запряженных парами и тройками тачанках. За тачанками на привязи бежали подседланные кони. Фуражиры и разведчики в поисках сена отрыскивали в стороны от дороги и часто вместо сена привозили на крупе коня подобранного в степи больного партизана.

На рубеже калмыцких земель, на одном из последних хуторов, бригада остановилась на привал.

Чернояров сидел в хате перед открытым окном и посасывал трубку. Бойцы – кто спал, кто резался в карты: на кону вороха керенок, патроны, золото и серебро.

В стороне от хутора нижней дорогой проходила какая-то смешанная часть. На привязи за фаэтоном шла, танцуя, гнедая да статная, как с картинки, лошадь. Чернояров поднес к глазам бинокль и подозвал Шалима, что сидел невдалеке на разостланной шинели и подпилком зачищал на клинке зазубрины.

– Смотри, кунак… Вон, во-он играет гнедая! – Подмигнул. – Сыпь.

Привыкший к необузданному нраву своего друга и повелителя, адъютант молча отвязал от воротнего столба кабардинца, вскочил в седло и собачьим наметом поскакал на нижнюю дорогу. Однако он скоро вернулся и доложил:

– Дербентский полк… Гнедая кобыла ходыт под командыром полка Белецким.

Разбалованный войною и уже не имеющий силы сдерживать свой лютый нрав, партизанский вождь выдернул из коробки и положил перед собой на подоконник маузер.

– Сыпь, ахирят, и без кобылы не возвращайся… Застрелю. Ты знаешь, я в своем слове тверд.

Бойцы прекратили игру в карты и, пересмеиваясь, гадали, чем кончится командирская причуда.

Шалим крутнул головой, крякнул и, урезав плетью кабардинца, припустился догонять Дербентский полк, который уже миновал хутор и спускался в лощину.

Все смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Не успел Чернояров докурить трубку, как по дороге заклубилась пыль… Шалим мчался во весь опор, держа в поводу вторую лошадь. За ним, крутя шашками и гикая, гнались конные.

– В ружье! – подал бригадный команду.

Бойцы похватали с воза карабины.

– По шапкам… залпом… пли!

Шалим влетел в хутор.

Те, что гнались за ним, остановились на пригорке, послушали свист низко летящих над головами пуль и, погрозив шашками, повернули обратно.

Чернояров выпрыгнул из окна.

– Люблю, кунак, за ухватку, – засмеялся он, перехватывая повод золотисто-гнедой, с темными подпалинами в пахах, кобылы. – Так и надо: коли силой не силен, будь напуском смел… А покупка, видать, добрая, – оглаживал он испуганную храпящую лошадь.

– Зарубыл, – угрюмо буркнул Шалим.

– Кого зарубил?

– Белецкого.

– Брешешь? – Бригадный внимательно посмотрел на кавказца. – Ну?

Шалим молча извлек из-под полы бурки порыжевшую от свежей крови шашку.

– Черт, – нахмурился Иван и шагнул к адъютанту. – Дурак. Тебя пошли богу молиться, а ты готов и церковь обокрасть.

– Она не даваль, она кричаль, – оправдывался кунак, – я его рубыл: так и так!..

– Дурак с замочкой, – повторил бригадный, но, глянув на добычу, сейчас же добавил. – Хотя… кобыла мне нужнее, а кобыла, видать, добрая.

Высоконогая, собранная, среднего веса, гибкая, как щука, она косила на своего нового хозяина нежным глазом, прядала лисьими ушками и, точно прося ходу, потряхивала сухой головкой.

– Как ее… звать?

– Торопылся, забыл спросить, – ухмыльнулся Шалим, оттирая клинок песком и суконкой.

– Назову ее Стрелой… Стрела… Стрелка… – Чернояров подтянул подпруги и, не ставя ноги в стремя, махнул в седло и поскакал в степь объезжать кобылу.

Затихал и Черный Рынок, пропуская остатки армии через свои разгромленные улицы, на которых были сожжены заборы, плетни, крылечки и дощаные настилы тротуаров.

На краю города в раскрытом хлеву сидели однополчане – Максим Кужель, Григоров и Яков Блинов. Перед ними – на разостланной шинели – ведро вина, коврига хлеба и несколько печеных в золе картошек. Отслужившие свою службу винтовки были отставлены в угол.

Пили молча.

Казачья шашка и офицерская пуля выстелили полк по ставропольским степям. При переправе через реку Калаус белые отбили обоз, в котором ехали жена и больная дочь Григорова,– он не знал, что стало с ними. Под станицей Наурской ночью напоролись на засаду и потеряли последние пулеметы и последнюю батарею. Остатки полка рассеялись по дорогам. Максим на ногах переболел испанкой и брюшным тифом. Блинова дважды контузило – перекошенное лицо его беспрерывно дергалось, левая нога загребала, руки не слушались и не могли сразу схватить со стола ложку или кусок хлеба.

– Конец, друзья, всему конец, – как бы про себя тихо вымолвил Григоров. Он неторопливо просматривал записную книжку и уничтожал лист за листом.

Все трое опять долго молчали.

Где-то, со стороны Кизляра, погромыхивали пушки.

– Ехать надо, – вздохнул Максим и задумался. – Как и на чем ехать будем?

– Куда поедешь?

– Куда все, туда и мы.

– Брось…

– А тут чего высидим?.. Чу, кадетские пушки бухают?.. Того и гляди нагрянут, гады… Думай, не думай, а умней того не выдумаешь – утекать надо.

Григоров измятым котелком зачерпнул вина, медленно отпил и, обсосав ус, храпнул, как усталая лошадь.

– Никуда не пойду… Свое сыграли… Баста.

– Баста… – тряхнул головой и Яков Блинов. – Всякую жизнь поглядели, умирать пора… Были у нас в руках хоромы и дворцы, да не довелось пожить в них… Не дают нам контрики в две ноздри дышать, загнали обратно в свиной хлев. Тут, верно, и помереть придется. – Он с тоской оглядел заляпанные говяхами дырявые стены и невесело засмеялся: – Эх, ты, сивка моя бурка, не довезла солдата до райских садов. Выпьем…

Максим встал и сердито заговорил:

– От вас ли такое слышу, станишники?.. На войну с кадетами нас никто не гнал… Мы пошли по своей воле… Грудью, как это пишется в газетках, грудью вы встали за святое дело, не щадя ни жизни своей, ни хозяйства своего, ни семьи своей… Триста лет нас гнули, и отцов и дедов наших гнули…

– Брось, Максим Ларионыч… Я…

– Путь наш еще далек, – продолжал Максим, – а мы на полдороге начинаем спотыкаться и оглядываться назад… Кубань, Кубань… Да пропади она пропадом! По-старому-бывалому нам на ней не жить! За нами советская держава, сто или сколько там губерний… Только бы до Астрахани добраться, а там раздышимся и еще потягаемся с кадетами за райские сады, еще поедим золотых яблочков, еще вернемся на Кубань с музыкой, еще поплачут они от нас… А вы, головы, с большого ума чего надумали? Кадеты, с часу на час…

– Уж не мыслишь ли ты, Максим, что мы хотим к белым перебежать? – улыбнулся Григоров. – Нет, дружок… С кадетами нам одному богу не изливаться и одной соли не ёдывать.

– Ехать, ехать надо, – долбил свое Максим. – Лошаденка у нас хоть и плохонькая, а есть. В пути авось и другой разживемся.

– Никуда не поеду. Свое сыграл. Баста! – упрямо повторил Блинов и отвернулся.

Максим, волоча отекшие ноги, вышел.

Под навесом сарая дремала, уронив голову и распустив слюнявые губы, запряженная в двухколесную арбу буланая кобыленка.

– Но! – шлепнул ее Максим по крупу. – О грехах задумалась?.. – Сунул ей под морду горелую ржаную корку. – Набирайся паров, на тебя вся надежа.

В хлеву грохнул выстрел.

Максим кинулся туда.

На залитой вином шинели, грянувшись вниз лицом, лежал Яков Блинов. Правая разутая нога его еще дергалась, из затылка в стену тугой струей била кровь. Григоров сидел перед ним на корточках и, закусив бороду, глухо рыдал.

– Сам? – спросил Максим.

– Сам… Уговорились оба… Духу не хватает… И зачем пуля пощадила меня на фронте?

Максим потоптался немного и тронул Григорова за плечо.

– Едем.

– Куда ехать?

– Заладил свое, куда да куда… Вставай.

Под руки он поднял больного товарища и вывел из хлева.

Потом вернулся, вышарил в карманах у мертвого жестяную коробочку с махоркой, спички, поцеловал его в губы и, захватив пустое ведро и две винтовки, вышел сам.

– Ну, буланка, вывози.

Тронули улицей.

И сразу со всех сторон налетели попутчики. Оборванные, усталые и обозленные, они просили, стонали, ругались:

– Я не в силах идти, я погибаю…

– Братцы, посадите…

– Станица!.. Годок!.. Какими судьбами?.. – Перед арбой стоял Васька Галаган. Голова его была обмотана грязной тряпкой, сквозь которую проступила и черной лепешкой запеклась кровь. – Здорово, сват, – небрежно кивнул он и Григорову. – Подвезете версту-другую?.. Мне только своих догнать.

– Вася! – обрадованно воскликнул Максим. – Какой разговор? Садись, друг.

Галаган вспрыгнул на арбу.

Остальные не отставали и на разные голоса тянули.

– И я… И меня… Не покиньте на погибель…

– Ходи мимо! – вызверился моряк. – Лошадь, она не железная!

И еще Максим принял на арбу путавшегося в долгополом больничном халате мальчишку.

Уселись тесно, спина к спине.

– Откуда, сынок?

– Из лазарета, дяденька, убежал. Я здоровый, никого не заражу, ты меня не прогоняй… Я только измучился с дороги и от голоду… Во рту запеклось, покурить бы.

Моряк протянул ему расшитый цветными шелками, засаленный кисет с махоркой.

– Завертывай, салага. Табачок да вино, кипяченное со стручковым перцем, от тифа первое средство. – Он повернулся к Максиму и начал скороговоркой рассказывать: – Я сам больше месяца вылежал в пятигорском госпитале. Суют мне каких-то соленых порошков, а я их – за борт. «Врете, думаю, дорываетесь отравить морячка, но этот номер не пройдет». Под боком у меня две четверти вина грелось. Я его и сосал помаленьку. Винцо меня и на ноги поставило. Топаю в комиссию. Комиссия признает меня негодным к дальнейшей службе. Главврач, такой на козла похожий, спрашивает: «Ваш чин, звание, должность?» – «Моряк первой статьи с дредноута «Свободная Россия» в недалеком прошлом, – отвечаю я, – и командир на все руки в настоящем и будущем». Улыбается главврач и говорит: «Вам, товарищ, необходимо отдохнуть». А я ему: «Катись ты к крокодильей матери. Все воюют, а я отдыхать буду? Ты меня увольняешь, но я остаюсь при своем славном отряде». Он мне ни слова. Лежу еще сколько-то дней, маракую, как бы дорожный аттестат забарабать… И снова топаю на комиссию. Доктора признают во мне возвратный тиф. «Мы вас, товарищ, переведем в заразный барак». – «Шалишь!» – кричу. «Я здоров!» – кричу. «Вы не врачи, а контры», – кричу. «Успокойтесь, товарищ, вам вредно волноваться. Вам нужен отдых». – «Не мне нужен отдых, кричу, хотите, чтоб я заразился и околел, и сами без меня мечтаете отдохнуть? Ну нет, гады. Я еще проживу бессчетно лет и долго не буду давать вам покою!» Они мне ни слова. С презрением поглядел я на них, закурил, сидора (мешок) на горб и – ходу.

– Отстал? – спросил Максим. – Где твой отряд?

Галаган рассказал о гибели отряда. Сам он последние месяцы не сидел сложа руки: был комендантом пороховых складов, возглавлял одну из уездных ЧК, гонял по Ставрополью бандитов, был начальником конной разведки Азовского полка.

Город давно пропал из виду.

Степь да степь кругом

ни кустика, ни деревца,

серые тяжелые пески.

Злой ветер гнал по степи сухую колючку и легкие шары перекати-поля: подпрыгивая и перегоняя друг друга, они неслись по дикому простору, массами скоплялись в низинах, подожженные, ярко пылали и указывали по ночам дорогу.

Наехали на схваченное льдом большое озеро.

– Море? – спросил мальчишка.

– Нет, хлопчик, это еще только шматки от моря. Само море будет в сторону верст на тридцать.

Напились соленой с горчинкой воды, сдобрив ее сахаром. Моряк отплевывался и ругался:

– От голоду-холоду отшутиться можно, а вот пить нечего – ложись и помирай. И как только тут люди живут? Это же не вода, а какая-то моча дамская. Тьфу, тьфу!..

– Так и живем, – подошел рыбак, – у нас в засушливые годы лягушки дохнут.

По берегу нагребли сухого камыша, метелками камыша покормили лошадь.

Рыбак рассказывал:

– На днях проходили тут ваши, многое множество. На Лагань пробирались. Озеро, оно вон какое, обходить далеко. Сунулись напрямик по льду. С версту отползли от берега, лед треснул и разошелся. Трещину забили повозками, лошадьми, пошли дальше… Лед подломился и осел. Все, сколько там ни было, с обозами, с пушками, потопли. Я шапок наловил полну лодку. Война, война… И кто ее выдумал на наше горе? Тьма-тьмущая народу гибнет.

– Погоди, дядя, буржуев перебьем, и войне конец.

– Жди, пока черт сдохнет, а он еще и хворать не думал.

По выбитой корытом дороге в одиночку и кучками шли, падали. Иные, шатаясь, подымались; иные оставались лежать; иные в горячке уходили в сторону от дороги.

За бугром в затишке присел отдохнуть молодой партизан, да так и замерз. Во рту у него торчал окурок. Ветер играл рыжим, выпущенным из-под кубанки чубом. Ноги замело песком.

Волы в упор тащили броневой автомобиль.

Валялась лошадь с выеденной волками требухой. Кто-то, спасаясь от холодного ветра, заполз в лошадиное брюхо; наружу торчали два костыля и одна нога в худом чоботе.

Брела молодая женщина с грудным ребенком на руках. Слезы размывали грязь на ее раскрасневшихся щеках. Из кармана бекеши торчала бутылка с молоком. Впереди, разбрыливая песок тяжелыми сапогами, шагал муж в малиновых штанах. Лицо его было накалено тифозным жаром, гноящиеся глаза не глядели. Нет-нет да и обернется и заорет: «Рассупонилась, тварь поганая!» И женщина зальется еще пуще. Ребенок уже не плакал, а только сипел.

Максим бодрил лошаденку хворостиной, но та ровно не слышала и, помахивая жиденьким хвостом, еле тащилась, заплетая ногу за ногу.

Тянулись руки, исхудавшие до того, что кожа казалась присохшей к мослам, и руки, отекшие до остекленения, в тифозной шелухе и язвах, многие руки тянулись и цеплялись за наклески арбы.

– Подвези.

– Куда же я тебя, бедолага, посажу?

– Как-нибудь… Ноги меня не держат… Посочувствуй…

– Жаль, друг, тебя, да жаль и себя.

– Ну, ладно, мы не сядем… Пойдем рядом… Будем только держаться…

Под курганом в головах издыхающего коня сидел, кутаясь в бурку, кавказец. Из-под сшитой из целого барана папахи его голодные глаза горели, как угли.

– Чего сидишь? – окликнул кто-то тихим голосом.

– Смэрть ждем, – так же тихо ответил он.

– Айда с нами.

– Гуляй адын.

– Продай, – потянул с него боец бурку, – тебе все равно умирать.

– Китыгис, кабан!.. Я тебе сделаю зубы наружу! – И кавказец взмахнул наганом.

Прошли.

Песок расползался под ногою, лошади вязли в песке по щетку.

В лощине застряла батарея. Артиллеристы выпрягли шатавшихся от изнурения, взмыленных битюгов, сыпнули в дуло каждого орудия по пригоршне песку и дали последний залп. Пушки дернулись и, изуродованные, свалились с лафетов. Батарейцы шапками отерли вспотевшие лица, закурили и, ведя в поводу битюгов, пошли вместе со всеми.

Два пулеметчика попеременно волочили за собой пулемет. Выбившись из сил, с раскрытыми ртами и глазами, налитыми кровью, они остановились, перекинулись коротким словом и принялись зарывать пулемет. На мерзлом песке сделали неприметные для чужого глаза хитрые отметины: они еще не теряли надежды вернуться!

В малиновых штанах отошел с дороги немного в сторону, перекрестился и пулей зачеркнул свою жизнь. Жена упала на него, забилась, закричала на крик:

– Феденька!.. Федя… Федя…

Ее темный вой доставал до каждого сердца, но всяк, кто ни проходил, отвертывался, чтоб не видеть такого… Никто и ничем не мог ей помочь… Но вот, шатаясь от усталости, подошел молодой боец и молча взял ребенка на руки. Женщина сняла с себя крест, накинула его на шею мужу и, плача с привизгом, поплелась за человеком, который понес ее ребенка. Долго она оглядывалась, останавливалась, как бы намереваясь повернуть назад.

Висел дождь, пахло мокрым песком.

Максим объехал распряженную повозку с больными. Они стонали и наказывали всем идущим и едущим мимо:

– Обозник обрубил постромки и ускакал верхом… Жеребец серый в яблоках, хвост коротко острижен, левое ухо резано, тавро глаголем. Обозник в плисовой бабьей жакетке, кривой на левый глаз. Где увидите – пристрелите.

– Не догонишь… Он поди-ка уже в Астрахани чаек с кренделями попивает.

Ковылял, припадая на ногу, китаец. По груди крест-накрест пулеметные ленты, на ремне через плечо ящик с полевым телефоном, в руках по винтовке, под мышками зажато по пучку соломы. За ним, не спуская с соломы налитых тоскою глаз, как тени, качались и брели, заплетая нога за ногу, брошенные хозяевами две худющие клячи. Как ни горько было бойцам, но многие рассмеялись.

– Покурим.

– Моя посола Астлакань, – оскалил он в улыбке гнилые зубы и прошел, не останавливаясь.

– Этот и до Сибири дойдет.

– Они живущие… Вчера на стану один такой же совсем кончался, а капнул я ему на язык три капли вина, у него глаза заблестели, встряхнулся: «Полоссай, товалиса», – только его и видали.

Пала ночь, забушевала темень, да такая, что и хвоста лошадиного невозможно было разглядеть. Ледяными струями потянул ветер, заковывая все в ледяную корку. А там хватила и, подобно снежному потопу, хлынула, закрутила метель.

Завыла, заметалась степь.

– Беда, – сказал Максим, – пропадем.

– Волчья ночка, – гнулся моряк, с головой укрываясь шинелью. Зубы его стучали, как пулемет. – Сам себя не видишь.

Наткнулись на целый лазарет. Лошади подохли в хомутах. На тачанках стонали, ругались, призывали бога и кляли его.

Мальчишка начал бредить. Он хватал Максима за руки и бормотал:

– Дяденька, у меня головной тиф… Дяденька, я умираю… жарко… Будто я – самовар, и в меня ровно кто горячих углей насыпал… Гони! Гони! Там за горой наша станица… Бабушка меня ждет, Федосья Кудрина. Капельку водички… жарко… Дяденька, кадеты! Вон, вон кадеты бегут… Белые флаги вьются… Стреляй! Дай винтовку! Гони скорее! – Он метался и захлебывался слезами.

Арбу мотало на ямах, арба дергалась, как в судороге.

– Гони!

– Тише, Максимушка, – просил Григоров. – Ох, ох, больно. Все нутро из меня выворачивает… Укрой меня, я замерзаю.

Максим набросил на Григорова свою шинель, а сам спрыгнул и зашагал рядом. Ноги его после тифа опухли и не лезли в ботинки. В пути он раздобыл валенки, но и в валенках было не лучше – то они мокрые, то обмерзнут, как колотушки.

– Волчья ночка… А ветер, ветер, того гляди, штаны сорвет… Это не игра. Не отстояться ли нам? – спросил Галаган.

– Остановимся – пропадем, – отозвался Максим. – Хоть и потихоньку, а ехать надо.

По мерзлой дороге скреблись лошади, скрипели колеса. В темноте хриплые голоса нокали.

– Кто идет?

– Темрючане.

– Братцы, – взмолился Максим, – давайте держаться вместе. Все как-то веселее.

– Погоняй, земляк, не отставай… Нас чумак ведет, сорок годов с промыслов рыбу возил, все дороги наизусть знает… На Эркентеневский улус трафим.

– И далече до него?

– К утру, гляди, довалимся… Только бы коняшки сдюжили.

Мальчишка спустил с плеча халат и, раздирая на себе гимнастерку, кидался:

– Жарко… Кожа на мне лопается… Дяденька, у меня ноги отваливаются… Одна уже, кажется, оторвалась?.. Слышишь, под землей конница скачет? Темно? Страшно! Аа! А! А! Горим! Горим! Пить хочу. Дай глоток воды, один глоток. Позовите взводного, я ему все расскажу…

– Фу ты, гнида, какой беспокойный, все бока протолкал, – ворчал моряк, прижимаясь к нему, чтобы согреться.

Максим не чуял под собой окоченевших ног, голову разламывало, каждая жила в нем стонала, но – с мужеством бывалого солдата – он крепился и все время что-нибудь делал: то оберет с лошадиной морды сосульки, то седелку оправит, сунет мальцу в горячий рот кусочек льду, приглядывал за Григоровым.

К утру парнишка затих. Отгоревшее лицо его посерело. Закушенный и покрытый белым налетом язык торчал на сторону. На синие веки опускались снежинки и не таяли.

– Испекся, – сказал моряк. – Столкнуть, а то только мешает.

Он ссунул мертвого и с облегчением вытянул на освободившееся место занемевшие ноги.

Мутный рассвет

нагая степь

ехали по еле набитому проселку.

– Где же улус?

– Леший его знает… Похоже, в сторону упороли.

– А чумак?

– Ночью сбежал… И мешок с хлебом прихватил, чтобы ему, кобелю старому, подавиться нашими крохами.

Вьюга-подируха из-под снегу драла песок. Снег поверху зачернел. Перебитый со снегом, скипевшийся мерзлый песок забивал уши, нос, рот. Песок скрипел на зубах, резал глаза и, казалось, пересыпался в пустых кишках.

Нежданно наехали на одинокую кибитку. Укрытая ото всех ветров, она стояла в седле меж двух курганов. Лошади, раздувая ноздри на кизячий дым, жадно заржали и прибавили шагу.

Не дошли сотню шагов

из кибитки выскочил распоясанный и без шапки, спрыгнул в водомоину, высунул дуло винтовки и – давай смолить.

– Е! Ей! – закричали. – Одурел! Свои!

Повалилась на бок шедшая в голове соловая кобыла. Пуля клюнула в плечо одного из темрючан.

Моряк турманом слетел с арбы.

– Что за дело, сучье вымя, и тут война…

За ноги Максим сдернул с арбы спящего Григорова.

Залегли и другие.

Тах-тах-тах…

– Палит, сукин сын.

– Может, кадеты?

– Взяться им неоткуда… Похоже – один.

– Один-то один, да завалился в яму и пулей его не возьмешь.

– Окружим, – предложил молодой темрючанин, – подползем со всех сторон и на «ура».

– Эка, будем кота за хвост тянуть. Я его, лярву, в два счета пришью, я ему… – Галаган вскочил и, пригнувшись, в припрыжку ринулся вперед.

Когда подбежали и другие, моряк уже сидел на стрелке верхом, левой рукой душил его, а правой хлестал по рылу и приговаривал:

– Гад… Курва… Вредный… На своих руку поднял?.. Дракон… Мурло… Ехидна… Обломок Иуды… Чертов пуп! – и какими, какими только словами не поносил его морячок…

Бросились в кибитку. В кибитке на овчинах бредила в тифу старая калмычка. Больше никого кругом не было. Тогда подступили к стрелку. Галаган поднял его с земли за шиворот и поставил пред свои грозные очи:

– Рассказывай, что ты есть за человек?

– Не мучь, братишка, – заплакал тот, отирая рукавом кровь с подбородка. – Стреляй скорее, стреляй Христа ради и не мучь…

– Садись и рассказывай. – Галаган выдернул из-за пояса кольт и взвел курок. – Рассказывай чистую правду. За первое фальшивое слово съешь пулю.

Все уселись у входа в кабитку.

Запухшими от кровоподтеков глазами он глядел на своих вчерашних соратников, как хорек, схваченный капканом, и, еле шевеля разбитыми губами, тихо повествовал:

– Я Царегородцев, Пашковской станицы, 1-го Кубанского полка… Наш эскадрон вышел к морю, на Лагань. Оттуда лежит тракт до самого Астраханя. Стали переплавляться через лиман. И подуй на нашу беду с берега отдёрный ветер. Льдину оторвало и закачало, понесло всех нас в море. Кто плачет, кто со злости смеется, кто, понадеявшись на коня, бросается вплавь. Многие потонули, но мы с товарищем Бондаренком – Гончаровского хутора казачок – выплыли на берег. Вот покинули обмерзших коней и сами, чтобы хоть немного согреться, бегом ударились в степь. Дело ночное, следу не видно. «Ветер, говорю, должен дуть нам в левую скулу». А товарищ успоряет: «В правую». Сколько-то дней плутали, голодные, без курева, спички размокли, и ни одна не загорелась. Набрели на поселок, где не нашли ни куска хлеба и ни одного живого. В хатах лежали мертвые, по улице валялись мертвые, и меж ними шныряли собаки. Обморозил я ноги, кожа на ногах начала лупиться, загнили пальцы. Товарищ нес мой вещевой мешок и мою винтовку. Подстрелили барсука и сожрали его сырым. Поднялась у меня в брюхе паника, валюсь на песок и говорю: «Я умираю». Товарищ перевернул меня на спину и давай мять мне брюхо кулаками и коленками. Меня в испарину кинуло, силы немного прибавилось. Не так здоров, но встал и могу на ногах шататься. Пошли. Идем полегоньку. Потом наткнулись на эту кибитку. У них было три барана и немного муки. «Мы слабые, – говорю я, – они нас ночью заколют, да и харчей на всех надолго не хватит, давай их убьем». Бондаренко отвечает: «У меня рука не поднимется, они перед нами ни в чем не виноваты. Отец мой, такой же старичок, остался на Кубани, может быть, и его уже кто-нибудь решает жизни». – «Раз, говорю, у тебя сердце мягкое, отойди на минутку…» Он, хотя и с неохотой, отошел и отвернулся. Обнажаю наган и стреляю старого калмыка, стреляю дите, еще дите и еще одного черномазого – шустрый такой: двумя пулями его пробил, а он знай визжит, за наган хватается и ноги мне целует. Свалил и этого, а старуху оставил: хоть перед смертью, думаю, справлю удовольствие. Она была еще здоровая и горячая, пар от нее отскакивал… Живем день, живем неделю, живем хорошо, как цыгане. Наедимся лапши с бараниной, спать завалимся, выспимся, калымку я понасильничаю, снова лапшу завариваем и опять на бок. Товарищ мой совсем поправился и все долбит: «Пойдем да пойдем». У меня ноги разнесло, босиком далеко не уйдешь, а сапоги не лезут. Старуха по ночам донимала: сядет на могилку, где мы их закопали, и воет, да как, стерва, воет – волос на тебе медведем подымается. Гонял я ее, бил, а она, как ночь, опять за свое…

Он помолчал и досказал:

– Вот вижу, мука кончается, баранины одна тушка остается, и пала мне на сердце злая думка… Покинет меня товарищ и баранину упрет. Стал я следить за ним. Выйдет он на курган и все дороги рассматривает. Ну, мы с ним поругались… Он лег спать, ничего не думал… Ну, я его ночью… того. Остался я один и стал жить с калымкой, как с женой…

– Вопрос ясен, – прервал его Галаган. – Чего же ты, друг ситный, в нас палил?

– Испугался… Я, братишечка…

– Ага, испугался, что твою баранину съедим?.. Ну, миляга, пойдем, получай награду, какую заслужил, – пинком Галаган поднял его с земли, отвел немного в сторону и свалил.

Переждали, пока стихла вьюга, и снова двинулись в путь-дорогу.

Выбрались на большак.

У темрючан лошади были поживее, и они угнали вперед. Максим, Галаган и Григоров опять остались втроем. Лошаденка останавливалась все чаще и чаще.

– Но, удалая, вывози.

Удалая помоталась еще немного и – на бок. Ее подняли. Буланка шагнула раз, шагнула два и опять упала: предсмертная дрожь пробежала по ее истертой шкуре, как рябь по тихой воде.

– Скотина дохнет, человек жив. Чудеса твои, Христе-боже наш!.. – горько засмеялся Галаган и потянул с арбы карабин и вещевой мешок.

Максим тесаком расщепал оглобли, раздергал арбу по доске и разложил костер. Кое-как они переспали на теплой золе, утром пососали снегу и пошли дальше.

По дороге и на обе стороны от дороги валялись полузасыпанные песком грязные портянки, поломанные колеса, разбитые кухни и повозки, брошенные седла, скорченные фигуры людей.

Григоров еле переставлял ноги.

– Вот и мы скоро так же…

– Мужайся, друг, – подбадривал его Максим. Он и сам чуть шел, но унылого вида не показывал.

Не падал духом и Галаган. Чтобы отвлечь спутников от смертных мыслей, он всю дорогу рассказывал что-нибудь потешное.

Подобрали брошенную кем-то косматую кабардинскую бурку, – поставленная на подол торчмя, такая бурка стоит как лубяная, – но в нее столько набило мерзлого песку, что тащить было не под силу, и они ее оставили.

Татарская деревня Алабуга догорала на кострах. Дома и мазанки, сараи и летние дощаные бараки были растащены. На кострах пылали вершковые половицы, полотнища ворот, крашеная резьба оконных наличников, камышовые снопы. Вокруг костров сидели томные, полумертвые… Выжаривали вшей из рубах, пекли в золе лепешки, в вине варили маханину. В хомутах и под седлами дремали голодные лошади. Лежа, вытянув по земле шеи, дремали верблюды – нежные пятки их были ободраны до мослов, горбы обвисли, на скорбных глазах намерзали слезы по голубиному яйцу.

Подошли трое, поздоровались. У огня раздвинулись и дали им место.

– Земляки, нет ли испить? – хрипло спросил Григоров.

– Сами двое суток не пили.

Один выхватил из кипящего ведра большой кусок мяса и ковырнул его черным пальцем.

– Похоже, готово.

– Давай дели, – загалдели кругом. – Горячо сыро не живет. Бывало, трескали свинину, а ныне довоевались – не хватает и конины.

– Оно по первому разу вроде душа не принимает, – сказал стоявший в свете огня огромного роста человек, на плечи которого, как поповская риза, был накинут и стянут на груди сыромятным ремнем персидский ковер. – Намедни попробовал жеребенка и все боялся, как бы он у меня в брюхе не заржал да лягаться бы не начал, а сейчас хоть кобылу давай – съем.

– После тифу, братцы, так-то ли на еду манит!.. Не то кобылу, хомут с гужами слопать готов.

– Да, разбираться не приходится, ешь, что зуб возьмет…

Все набросились на маханину.

Из темноты на огонек выходили все новые и новые, один страшнее другого.

При дороге стояла старуха татарка с торбой на плече. Она кланялась и оделяла проходящих кусочками черствого хлеба.

– Прощевай, дядьки, – поднялся Галаган. – Потопаю. Увидите своих, кланяйтесь нашим, – пошутил он напоследок.

– Куда ты, Вася, на ночь глядя, пойдешь?

– Спешу, спешу к цветку любви! – пропел он разбитым тенорком, прилаживая на загорбок мешок. – В Астрахани меня девочка дожидается: юбочка гармонью, кружевной лифчик, и-их! Душа окаянная… А, глядишь, подфартит, и своих азовцев догоню… А ночь для меня – тьфу! Мне лиха беда полы за пояс заткнуть, а там как затопаю, только пыль за мной завьется! – Он пожал станичникам лапы и, воротя нос от ветру, бодро зашагал в ночную темень.

Ночевали Максим с Григоровым в яме, в которую ссыпают рыбу на засол. Шинель постлали, шинелью укрылись. Всю ночь воевала вьюга, лепил мокрый снег. Ночью Григоров умер и окоченел. Максим проснулся, охваченный мертвыми руками, как обручем. С трудом он освободился из объятий мертвеца, вылез из ямы, немного всплакнул о товарище и – довольно.

Спустя еще два дня Максим довалился до села Оленичева и решил тут отдохнуть – ноги не несли его дальше. На улицах чаны с водою. Около них грудились обозы, вповалку лежали люди и лошади. У помещения этапного коменданта гудела огромная толпа. Раздатчики из распахнутых окон выдавали по неполному котелку пшеницы на едока и по осьмушке махорки на четверых. Калмыки – мобилизованные санитарным врачом – шайками разъезжали по улицам, собирали мертвых на скрипучие арбы и свозили за село в ямы, в ямы валили великое урево мертвяков, заливая их известкой и присыпая песком. На одном дворе китайцы варили в банном котле верблюжью голову. Вокруг них похаживал хозяин того двора и ругался:

– И откуда вас прорвало, хари неумытые?.. День и ночь, день и ночь идут и идут… Всю душу вытрясли, в разор разорили.

– Мы не на прогулке, – с укором сказал ему Максим, – не по своей воле идем, горе нас гонит. Погоди, может, и вам, астраханцам, придется хлебнуть горячего до слез.

– Друг ты мой, стога сена пять лет стояли непочатые, аж землей их взяло, все думал – вот-вот, вот-вот. А тут вас, как из трубы, понесло – стравили, сожгли все до последней сенины. И спрашивать не с кого. Каково это крестьянскому сердцу?.. Вешай хоть такой замок, хоть такой… Как хмылом все берет. И когда вы провалитесь?

– Хлеба или чего такого не продашь? – перебил Максим черноречье хозяина.

– Где возьму? – Показал из-за пазухи краюшку: – Вот кусок, сплю на нем, все мое богатство.

– Продай.

– А сам чего кусать стану?

– Сам-то ты дома. – Он отдал хозяину свои наградные серебряные часы и, забрав краюшку, пошел в хату.

Хата была набита людьми.

Лежали по полу, под лавками, на лавках, на столе. Стонали, бредили. Гнили обмороженные руки и ноги – духота, зараза. Максим пожевал хлебца и прилег, задремал: голова на пороге, а все остальное на дворе; голове жарко, а ноги начали замерзать.

– Товарищи, пропусти.

– Иди по мне, – простонал один, – только дай спокой. Ступая по людям, Максим прошел вперед. Некуда было не то что лечь, но и присесть.

Он забрался в русскую печь, где и переспал.

Утром вылез весь в саже и золе. Дух спирало от вони гниющего мяса. Стены покачнулись перед глазами Максима, и он упал. Потом очнулся и, собрав последние силы, пополз к выходу.

В хату заглянул, как вестник смерти, калмык. Он улыбнулся жалкой, заморенной улыбкой и спросил.

– Дохла нету?

Застонали, заругались:

– Уйди, стерва… Уйди, гад… Мы еще живы!

Принялись кидать в него чем попало. Калмык зацепил багром мертвого, что лежал около самого порога, и уволок его.

Не до отдыха было, зашагал Максим дальше.

В открытой степи он наткнулся на умирающего кума Миколу. Обняв объемистый мешок, тот сидел при дороге. Голова его поверх шапки была обмотана штанами. Сам он был закутан в лоскутное ватное одеяло, подпоясан свитой в жгут портянкой. Максим подошел и окликнул его. Кум Микола не поднял головы.

– Николай Петрович, ты меня узнаешь? – присел Максим перед ним на корточки.

Тот долго вглядывался в него набухшими от дурной крови, потухающими глазами и еле слышно выговорил:

– Нет… не узнаю…

– Я – Кужель…

– А-а-а, – равнодушно протянул умирающий, – помню.

– Нет ли у тебя хлебца?

– А-а… Есть, есть, вот бери.

Максим – в мешок. В мешке – сапожный товар, моток бикфордова шнура, три пары новых ботинок, пачка граммофонных пластинок, голова сахару, ременные гужи, какие-то веревочки, пара дверных петель, набор хирургических инструментов и на самом дне с пригоршню хлебных крошек и несколько окаменевших коржиков…

– Максим Ларионыч… Христа ради… Станица… Чубарые волы… Баба моя… И все семейство мое… – начал было кум Микола, но– последние удары кашля, хрип, всхлип и – готов.

Максим закрыл ему полные слез остановившиеся глаза.

На полпути к Астрахани, в селе Яндыках, стояли части 12-й армии. Члены фронтового реввоенсовета беспрерывно заседали, сочиняли воззвания и приказы.

Начальник штаба, человек военной выправки и строгих, рассчитанных движений, постукивая в такт своим словам карандашом, заканчивал очередной доклад:

– Партизанщина изжила себя. Невежественные и какие-то сказочные атаманы, не имеющие элементарных познаний в военном деле, в сегодняшних условиях не только неприемлемы, но и вредны.

– Че-пу-ха!.. – выкрикнул Муртазалиев из угла комнаты, где он полулежал с компрессом на голове в раскидном плетеном кресле.

Начальник штаба дернул плечом и продолжал:

– Опыт Кубани и Северного Кавказа как нельзя лучше доказывает правильность этого положения. Полтораста – двести тысяч партизан не смогли справиться с Деникиным, и ныне освободившиеся офицерские дивизии из-за спины донцов широким фронтом выходят на Воронеж, Екатеринослав, Киев. Перед нами сильный враг, и мы должны выставить против него дисциплинированную армию под руководством кадровых, опытных офицеров, готовых честно служить советской власти… Этого категорически требует и Москва. – Он извлек из папки с бумагами мелко исписанный лиловыми чернилами проект приказа и принялся читать: – Предлагаю: реввоенсовет одиннадцатой Северокавказской армии, как фактически уже не существующей, упразднить, войска одиннадцатой армии, по мере вступления их в наш укрепленный район, вливать в состав двенадцатой армии; лицам командного состава, политработникам и заградительным отрядам вменить в обязанность немедленно прекратить бегство кубанцев – больных разоружать на месте, здоровых возвращать на фронт. Нам, по многим соображениям, совершенно необходимо отстоять район Кизляра; из остатков одиннадцатой армии предлагаю сформировать две дивизии – стрелковую и кавалерийскую, каждую в девять полков: кавалерийской бригаде Черноярова – три полка, – как наиболее боеспособной, расквартироваться в селении Промысловском, перебрать низший командный состав, изъяв преступные элементы, и один полк вернуть на Лагань, другому занять Оленичево и третьему двинуться по реке Куме к Величавой в направлении Святого Креста для разведки. Самого Черноярова необходимо немедленно оторвать от бригады и предать военно-полевому суду. Довольно тютькаться с атаманами, пора показать им твердую руку. К тому же этого категорически требует и Москва… Я кончил.

Член реввоенсовета Муртазалиев поднялся, задрал ус и с азартом заговорил:

– Меньшевики сто лет кричали: «Рабочий, рабочий, ты чурбан с глазами. Сперва стань культурным, а потом делай революцию». Но русский рабочий класс не послушал меньшевистских ученых котов, смело шагнул к историческому рубежу и захватил власть. На ходу перестраиваясь и постигая мудреные науки, пролетариат ведет и выведет страну на широкий путь социализма и мировой революции… Мы сами знаем, чего требует Москва, но…

– Плише к телу, – прервал его толстый Бредис, – нас не интересуйт лекций, нас интересуйт война.

И начальник штаба заерзал на стуле:

– Господа, спешу оговориться, в мои планы не входило давать оценку программы той или иной политической партии. Да, кстати сказать, в политике я плохо разбираюсь и, признаться, недолюбливаю ее. Я сделал доклад строго военного характера.

– Партизаны, – продолжал Муртазалиев, – и партизанские командиры порождены революцией. Кто видит в них только отрицательные качества, тот никуда не годный революционер… Нельзя забывать, дорогие товарищи, и своеобразия обстановки. Правда, в центральных губерниях Красная Армия уже переболела митинговщиной, но на Северном Кавказе партизаны являются самой надежной опорой советской власти. Кровью они доказали свою преданность революции. Целый год они приковывали к себе главные силы белогвардейщины, дав нам возможность расправиться с Доном, Уралом и Украиной. Лишь в двух городах противника – Екатеринодаре и Новороссийске – в лазаретах лежит тридцать тысяч раненых белых, а сколько их осталось на полях, того никто не считал. Я не собираюсь защищать Черноярова. За свершенные преступления он должен понести кару. Но Чернояров – вождь. Бойцы его любят. Один нетактичный шаг с нашей стороны – и прольется ненужная кровь. Трусливый, колеблющийся, негодный элемент отсеялся. Сюда докатилась волна отборного человеческого материала. Мы не можем такими кусками швыряться. Пустить партизана в город, соскрести с него вшей, вымыть в бане, накормить, одеть, дать короткий отдых, и он опять поскачет на коне хоть в Индию или под Париж. Разоружать же и останавливать больную и голодную армию в песках, обрекать ее на верную гибель я считаю преступлением перед революцией!

Несколько минут все молчали. Потом к Муртазалиеву подошел и заговорил член реввоенсовета Гаврилов:

– Ты, Шалико, во многом прав, и тем не менее я согласен с начальником штаба. Всех кубанцев в город пускать не следует. И без того тиф бушует и косит направо и налево. Астраханский гарнизон ненадежен, обыватель озлоблен, шумят матросы, волнуются пристанские рабочие. Эсеры и офицеры вовсю используют недовольство и готовят восстание.

– Тут-то и нужны будут кубанцы, – воскликнул Муртазалиев. – Они подавят всякое восстание против советов! Как вы этого не понимаете?

– Обстановка слишком сложна. Еще неизвестно, на чью сторону встанут распаленные неудачами кубанцы… Город – наша база, и мы должны сохранить его за собой во что бы то ни стало. Отсюда будем готовить удар на Урал и Кавказ. Нам до зарезу нужна нефть, нужен бензин. В городе шесть аэропланов, и ни один не летает – нет горючего. Бездействует флотилия. Останавливаются фабрики. Замирает железная дорога. Без горючего республика задохнется…

Подошел и Бредис:

– Партисаны – это воевать понемношку и кричать помношку – никута не котится. Я много думаль и, учитывая все то самоко мелоча, коворю: тисциплина, тисциплина, тисциплина, и к весне мы покончим с Теникиным и с тругими сволочь…

– Совершенно верно, – поддержал его начальник штаба. – Армия может стать боеспособной исключительно при условии, если путем каких угодно жертв мы привьем железную дисциплину. Чернояровы не столько занимались борьбою с противником, сколько междоусобными потасовками и грабежом. Паче чаяния, Чернояров не подчинится приказу – предлагаю, в интересах укрепления престижа реввоенсовета, расправиться с ним силою оружия.

Муртазалиев сорвал с гвоздя шинель и папаху:

– Поеду к Черноярову и переговорю с ним. Необходимо принять все меры к тому, чтобы сохранить для революции если не его, то хотя бойцов, идущих за ним.

Предложенный начальником штаба приказ был принят единогласно при одном воздержавшемся.

Весть о разоружении ослепила армию.

В хатах

по дорогам

у костров

замитинговали.

Партия, к которой пристал Максим, при выходе из села, наткнулась на заставу.

– Товарищи, сдавай оружие!

– Разевай пасть шире… Мы вырвались из зубов самой смерти, а вы тут так-то нас встречаете?

Комиссар заставы показал приказ:

– Читали?

Закачались, зашумели:

– Мы измучены и истерзаны…

– Ты нам не давал оружия, ты его и не получишь.

– Прочь с дороги!

Комиссар поднял руку:

– Товарищи, успокойтесь. Вы солдаты революции и должны сознавать, что приказам советской власти надо подчиняться. Здоровые, разойдись по квартирам. Больным тоже не советую идти, в дороге померзнете и пропадете. Из Астрахани высланы подводы, и за самый короткий срок все больные будут подобраны, переброшены в город и размещены по лазаретам.

– Ты нас не жалей!.. Мы сами себя пожалеем!.. Дай дорогу, не то отведаешь костыля!

– Не грози, приятель. Я такой же, как и ты.

Вперед выступил седой старик. Одет он был в рогожный куль, подпоясан ружейным погоном. Его рыжая шапка-кубанка по нижнему краю была сера от вшей, вши путались в косматых бровях, ползали по искусанному до рябин лицу, рукою он обирал вшей с лица и мигал воспаленными глазами.

– Боитесь, как бы мы не напустили вам в город заразу?.. А мы – не люди? Нас тифозная вошь не иссосала?.. Ты сыт, а я голоден и изломан, – взвизгнул он. – На тебе новая шинель, а на мне кулек, на котором дыр больше, чем мочалы…

Комиссар сбросил с себя шинель:

– Надевай!

– Зачем мне твоя шкура? – затрясся старик. – Ты мне полсотни овец отдай, восемь пар волов отдай, коней отдай, дочку отдай, которую замучили кадетские офицеры. Двух сынов отдай, руку отдай! – И он взмахнул из-под кулька пустым рукавом.

– Товарищи, довольно шуметь! – возвысил комиссар голос. – Приказ… Оружие…

– Оружие?.. Получай от меня от первого, – сурово сказал старик, и не успел никто и ахнуть, как он выдернул из-за пояса бомбу и бросил ее комиссару под ноги.

Взлетел сноп огня. Комиссар остался лежать на месте, застава разбежалась.

Бригада Ивана Черноярова отдыхала в селе Промысловке.

Сам Чернояров умирал… Из почерневшего рта его с хрипом вырывалось горячее дыхание, ходуном ходила забрызганная синеватой тифозной сыпью и расчесанная до крови костлявая грудь. У постели третьи сутки бессменно дежурили доктор и верный Шалим. В сенцах и на крыльце, переговариваясь вполголоса, толклись старые соратники, и всякий раз, когда адъютант выбегал во двор, они окружали его:

– Браток, как оно?

– Дишит мало-мало… Говорит: «Ох, ох». Сапсем палахой дела…

– За доктором поглядывай…

– Яры, яры…

Дом был разрушен, окна заткнуты соломой и подушками. В комнате не было ни одного стула. Доктор присаживался на подоконник, и голова его, будто неживая, падала на грудь.

Шалим подбегал на носках и шипел:

– Спышь, ишак?.. Я тебе посплю.

– Чего вы от меня хотите? – раздраженно спрашивал доктор, раздирая слипающиеся, будто медом намазанные веки. – Камфару вспрыснул, температуру измерял…

– Еще меряй! – совал наганом в ребра. – Все время меряй. Умрет он, вся бригада с горя умрет. Из него душа – и из тебя душа.

Доктор подходил к больному, менял лед на голове, щупал пульс, ставил термометр, и синяя жилка ртути быстро взлетала до сорока с десятыми… Этому благообразному старичку, вывезенному откуда-то с кавказского курорта, Шалим не доверял, зорко следил за всеми его движениями и заставлял самого пробовать лекарства, прежде чем давать их больному.

– Скажи, умрет? – шепотом спрашивал он в сотый раз.

– Я не бог. Долго ли вы будете меня мучить?.. От усталости я сам умру раньше вас…

– Пачему глаза закрываешь? Гавари и гляди.

– Пульс сто восемьдесят… Температура… Ннда… – И доктор моментально начинал храпеть с пристоном, пуская пузыри.

Шалим спичкой поджигал ему волосы на голове и шипел:

– Слышь?.. Он умрет, и я умру! Он умрет, и тебя убью! Адын раз тебя, ишака, мало убить, десять раз тебя убью!

Наконец болезнь сломилась и пошла на убыль.

Бригада возликовала: день и ночь в полках гремели гармошки, пляска и песня. Подвыпившие бойцы заходили к любимому командиру, и всем он говорил одно:

– Хлопцы, готовься к походу…

Из Яндык ординарец привез приказ реввоенсовета о разоружении бригады. Чернояров усмехнулся и отдал листок приказа Шалиму:

– Иди, подотрись.

Когда приехал Муртазалиев, Чернояров был уже на ногах.

Они познакомились.

– За моей головой приехал? – спросил Чернояров.

– Ты почему не подчиняешься приказам?

– Я не подчинялся и не буду подчиняться царским шкурам, которые засели в ваших штабах. Повернуть армию назад? Статошное ли это дело?.. Пойдем и спросим последнего кашевара, и он, хотя и не учился в академиях, скажет тебе, что в этих проклятых песках, где нет ни воды, ни фуража, ни хлеба, можно воевать лишь малыми отрядами. Полкам тут могила, бригадам – могила, армиям – могила!

– Получай ультиматум…

– Давай!.. – Повертел в руках хрустящий листок и вернул его Муртазалиеву. – Я неграмотный… Читай сам да погромче, а то я после тифа оглох… В голове ровно шмели гудят.

Муртазалиев начал громко читать:

– «Бывшему командиру кавалерийской бригады Ивану Черноярову. Именем Российской рабоче-крестьянской советской власти приказываем бойцам бригады сдать оружие как холодное, так и огнестрельное, после чего вся бригада будет расформирована по частям…»

Чернояров вскочил, как укушенный, и отбежал в угол:

– Читай! – крикнул он, задыхаясь и не спуская с Муртазалиева горящих глаз. – Читай.

– «Бригада не подчинилась приказу советской власти, самовольно выступила с места стоянки и самовольно двигается по неизвестному пути, разрушая всякий порядок и военную дисциплину…»

– Врешь, лахудра! – От удара задребезжала рама. Муртазалиев поднял голову и увидел в окне горящие глаза. Безгубый парень яростно колотил в раму кулаком и орал: – Врешь, харя черномазая! Пойдем к нам в полки, и мы покажем тебе, какой у нас держится порядок! Найди хоть одну раскованную лошадь… Мы не покинули ни одного своего больного… Нам до самой Астрахани хватит фуража и вина… Проверь нашу кухню и обоз… Посчитай, сколько мы вывезли с Кавказа пушек и пулеметов!

За окнами гудели голоса, взрывались крики.

– Читай! – приказал Чернояров. – Это шумят мои бойцы, не бойся… А это… – повернулся он к порогу и указал на набившихся с воли людей в бурках и нагольных полушубках, – это боевые командиры разных частей, самые храбрые, которых дала Кубань… Читай! Пусть слушает вся бригада, вся армия.

– «В случае неисполнения сего ультиматума добровольно, – продолжал Муртазалиев, – каждый пятый боец будет расстрелян. Черноярову заявляем, что если он не трус, то явится перед справедливым судом советской власти, где и будет иметь слово в свое оправдание. Если он любит своих бойцов и народ, то пусть пожалеет их жизни и исполнит настоящее последнее приказание. На размышление дается тридцать минут».

Густая, придушенная тишина. У порога сопела чья-то раскуриваемая трубка. За окнами – раскрытые немые рты и глаза, круглые, как серебряные полтинники.

– Все? – спросил Чернояров.

– Все.

– Я не верю вашему реввоенсовету, где окопались царские полковники и генералы. Не первый день я с ними бьюсь, буду биться до последнего! Бойцы не покинут меня. Будем стоять по колена в крови, но не сдадимся! Проберусь до батьки Ленина, и он всем этим ползучим гадам прикажет поотвертывать головы.

Муртазалиев, ероша седеющую гриву, пробежал по комнате из угла в угол и остановился перед Чернояровым:

– Ты не прав, дорогой товарищ. В нашей армии забор хорош, да столбы гнилые, менять надо. Военных специалистов мы запрягли и заставляем везти наш воз. Белые сильны, главным образом, крепкой дисциплиной. Мы должны выставить против них свою дисциплинированную армию, которая без рассуждений слушалась бы своих начальников.

– Меня и так слушаются.

– Анархия, дорогой товарищ, погубила партизанскую армию, подорвала ее мощь, и кадеты разгромили вас…

Чернояров задумался, уронив голову на руки. Он был оглушен и подавлен.

От порога один из командиров подал голос:

– Нас не кадеты разгромили, а тиф.

И разом прорвались, заговорили:

– Тиф, он тоже не с ветру…

– Кругом измена и предательство.

– Почему санитарная часть в армии никак не была налажена? Почему на фронте не хватало патронов? Почему нас душила вошь? Не видали ни мыла, ни белья, а в Кизляре целую неделю жгли склады с боеприпасами и обмундированием…

Саженный батька закубанских пластунов Аким Копыто, с лицом угрюмым и рябым, будто шилом исковырянным, кашлянул в кулак и густо вздохнул:

– Мы шли и думали, вот советская власть поймет нас, как мать ребенка, а выходит, и тут пулями кормить будут…

– Дорогие товарищи, – снова заговорил Муртазалиев. – Зачем шуметь? Мы не на базаре. Поговорим спокойно… Железнодорожный транспорт разрушен. Гужевой транспорт разрушен. Из Астрахани мы не успели вовремя перебросить вам на Кавказ все нужное… Скажи мне, товарищ, – обратился он к Черноярову, – правда ли, что ты зарубил Арсланова и Белецкого?

– Правда, – густо покраснев и давясь волнением, ответил комбриг. – Верю комиссарам, которые дерутся на фронте, а которые по тылам на автомобилях раскатывают, тем не верю. И до самой смерти не буду верить.

– Белецкий был боевым командиром, это знает вся армия… Арсланов был старым революционером, это говорю тебе я… Ты, дорогой товарищ, свершил тягчайшее преступление перед революцией.

Чернояров молчал.

– Жалуются вот на твою бригаду, – продолжал Муртазалиев, – барахлили вы много. Это тоже правда?

– Брехня. Зря нигде никого не грабили. Буржуев, было дело, рвали. Восстанцам и кулакам тоже спуску не давали. Не мимо говорит старая казацкая пословица: «Убьют – мясо, угреб – наше».

– Поедешь в реввоенсовет? – спросил Муртазалиев.

– Нет, не поеду. Там вы меня расстреляете… Виноват – пусть меня судит вся армия.

– Так, так… Плох тот красный командир, который боится революционного суда… С тобой в реввоенсовете хотят поговорить… Обещаю, что там никто и пальцем тебя не тронет… С тобой хотят поговорить, поверь мне.

– Тебе, может быть, и поверил бы, – пытливо глянул на него Чернояров, – но тем старорежимным шкурам, что заседают с тобой за одним столом, под одной крышей, с которыми ты ешь кашу из одной чашки, – тем не верю! Режь меня на куски, жги огнем – не верю!

– Двадцать лет я работаю в большевистской партии, ты мне должен верить… Я остаюсь здесь заложником и выкладываю на стол часы. Езжай один. До Яндык семь верст. Если через три часа не вернешься, пусть твои бойцы казнят меня.

– На что ты, старый, нам нужен? – заорал за окном безгубый. – Братва, не выдадим Чернояра!

– Не выдадим!.. Не выдадим!

– Все за него поляжем!

– Братишки, измена!

На улице – под окнами – начался бурный митинг.

– Итак, не едешь? – в последний раз спросил Муртазалиев.

– Нет.

– Тогда – прощай, товарищ.

– Прощай.

Муртазалиев вышел на улицу.

Ночь. Село клокотало. Там и сям летучие митинги – бредовые, истеричные речи. Муртазалиев вмешался в самую многочисленную толпу и некоторое время слушал. Потом протискался вперед и взобрался на зарядный ящик:

– Товарищи… Я – член реввоенсовета…

Вой

свист

мат.

– Доло-о-ой!

– Стаскивай его за ноги.

– К стенке!.. К стенке!..

– Дорогие товарищи… Подумайте, о чем вы кричите?.. Кого к стенке? Меня к стенке?.. Сукины сыны! Когда многие из вас еще сосали мамкину титьку, я уже гремел кандалами в Акатуе. Царские тюремщики меня не добили, так вы – солдаты революции – хотите добить?.. Чепуха! Поговорим лучше о деле. – Он чувствовал горячее дыхание многотысячной толпы. Лица в темноте были неразличимы, лишь кое-где вспыхивали раздуваемые ветром цигарки. Вначале было несколько моментов, когда ему казалось, что действительно вот-вот стащат и разорвут. Но – мужественно сказанное слово убеждения, – и ярость схлынула. Над притихшей толпой голос его гремел вдохновенно. – Где измена?.. Какая измена?.. Кто кричит подобное, того надо самого потрясти и проверить, кто он – дурак или трус?.. Дураки революции не нужны, а трус – среди нас – опаснее врага! Дорогие товарищи, в нашей семье нет места шкурникам, маловерам и людям растерянным! Кто не хочет или не умеет исполнять приказов, того будем гнать из армии в три шеи… Малейшая попытка сорвать дисциплину будет пресекаться в корне, со всей строгостью военного времени и революционных законов – это каждый честный боец должен зарубить себе на носу… Дорогие товарищи!..

Муртазалиев говорил о советской власти и Деникине, о большевиках и рабочем классе, о Москве и мировой революции.

После него выступали бойцы разных частей. Вот краткое слово одного из партизан:

– Кубанцы… Трудно нам будет мириться с новыми порядками, а мириться надо… Дадут приказ идти сто верст босиком по битому стеклу, и ни один из нас не должен отказаться… Немало в наши ряды затесалось гадов, которым не революция дорога, а своя шкура и свой карман… Немало прохвостов и среди наших начальников и комиссаров, но и они не спрячутся за мандат, пуля найдет… Если в штабах засели таковые, то кулаком их оттуда не выбьешь и горлом не возьмешь – тут треба ум, да умец, да третий разумец… Потом разберемся, кто в чем прав и кто в чем виноват, а сейчас у нас одна советская семья и один враг – тот, кто ходит в золотых погонах…

Ночью же, после митинга, Муртазалиев увел за собой на Яндыки два полка и несколько мелких отрядов. Много пристало к нему и отбившихся от своих частей одиночных бойцов.

А на рассвете, когда степь клубилась морозным туманом, из Промысловки выступила и бригада Черноярова. Шли весело – с песнями и гармошками. Перед эскадронами, гикая, плясуны плясали шамиля и наурскую. В тачанке, обложенный подушками, сидел хмурый Чернояров – сердце чуяло беду.

Перед Яндыками бригада наткнулась на цепь – полукольцом опоясав село, лежали дербентцы, Интернациональный батальон и Коммунистический отряд особого назначения.

Окрик:

– Кто идет?

Из густого тумана

выступали

конные массы:

– Свои.

– Стой. Стрелять будем!

Бригада остановилась и выслала на переговоры делегатов. С гранатами в руках они подошли вплотную к мелким, наспех вырытым окопам.

– Сдавай оружие, суки! – сорвавшимся голосом крикнул из окопа парнишка, и в наступившей вдруг волнующей тишине щелкнул взведенный курок его нагана.

– Ты, грач, сопли подбери! – метнул на него глазом эскадронный Юхим Закора и обратился ко всем: – Здорово, ребята… С кем это вы воевать собрались и чего тута стоите?

– Нас выставили на разоружение банды Черноярова… Он, стерва, продался кадетам и хочет проглотить молодую советскую власть.

– Какой негодяй натравливает вас на нашу бригаду?.. Какая мы банда?.. Целый год дрались с Корниловым и Деникиным…

– А за что зарубили нашего командира Белецкого? Мы вам за него глотки всем порвем… Почему не подчиняетесь приказам?.. За кого вы, за красных или за кадетов? – зашумел опять парнишка.

– Ты, шпанец, еще молод и зелен… Были бы мы за кадетов, давно бы ушли к кадетам, а то плутаем тут по пескам и кормим своим мясом вшей… Кто вами командует?

– Северов.

– Так это ж царский полковник. Для него народная кровь заместо лимонаду. Эх, вы, адиёты… Нет ли у кого закурить?

– Кури, – протянул астраханец пачку папирос.

– Папироски сосете, а мы забыли, как они и пахнут… Ну, ладно, вы, видать, ребята подходящие… Чернояровцы на своих руку не подымут… Пропускайте нас, пойдем до батьки Ленина, пусть узнает правду неумытую. На Кубани нас продали и пропили. Эх, братва, сколько там сложено голов, сколько пролито крови…

Позади окопов бегал политком и надсадно кричал:

– Прекратить переговоры!.. Открыть огонь! Огонь!

Но его никто не слушал.

По фронту началось братанье, и кое-где бойцы уже менялись шапками и оружием.

Политком кинулся в Коммунистический отряд.

– Огонь!.. Стреляй!

Сам припал за пулемет и

та-та-та-та-та-та-та-та-та-та…

Бригада заколыхалась.

По флангу раскатилась зычная команда:

– Эскадро-о-о-он, от-де-ленья-ми, по-вод л е-во, строй лаву!..

К Черноярову подскакал Шалим.

– Прикажи развернуть знамя и – в атаку!

– Не сметь!

Начал стрелять Коммунистический отряд. За ним сначала робко, а потом все смелее и смелее увязались дербентцы, и скоро вся линия заблистала огнями выстрелов. Невидимая в тумане, загремела батарея, ухнул бомбомет.

Шалим рвал коню губы и, свешиваясь с седла, кричал:

– Ванушка… Атака… Пусти нас на адын удар! Мы расправимся с ними, как повар с картошкой!

– Не сметь…

Чернояров приподнялся и оглядел бригаду, потом крикнул не спускавшим с него глаз горнистам:

– Играй отбой!

Бригада без единого выстрела, теряя убитых и раненых, отхлынула обратно на Промысловку.

На плошади митинг.

– Прощай, братва!.. – рыдал Чернояров и, не в силах выговорить ни слова, вскинул руку с маузером к виску.

С него пообрывали оружие, отняли маузер.

– Там нам жизни нету! – начал было он опять говорить, но потерял сознание и упал на руки Шалиму.

Доктор совал ему под нос нашатырный спирт, кто-то тер снегом уши.

Открыл глаза, туго выговорил:

– Добре нас встретили и угостили, добре… Так всех партизан угощать будут.

Его окружили командиры разных частей и зашептались… Наклонился Аким Копыто и загудел ему в ухо:

– Утекать надо… Уходи, пока дело не дошло до большой беды… Армия волнуется и встает под ружье… Подумай, Ванька, сколько может пролиться безвинной крови?

– Утекать?.. Как вору с ярмарки?

– Что ты станешь делать? – развел Аким пудовыми кулаками. – Всяко бывает. – Он посопел и досказал: – Высшему начальству надо покоряться… Промеж себя мы уже выбрали делегацию, пойдем на поклон в реввоенсовет и как один крикнем: «Руби нам, командирам, головы, но не тревожь бойцов. Мы их подняли со станиц и повели за собой. Кругом их бьют, а они ничего не знают».

И командир бронепоезда Деревянко сказал Черноярову:

– Так, Ваня, действовать нельзя… Нам надо держаться друг за друга и всем за одно… А наше одно – это советская власть…

– Да, да, мне лучше уйти… Я среди вас, как волк в собачьей стае! – Обезумевшими глазами он оглядел окруживших его командиров и коротко выругался. Потом опять поднялся на тачанку и, сломав над головой черен нагайки, скомандовал: – Братва, по коням!.. Выступаем… Кто верит мне – за мной!

И сейчас же две сотни всадников – у кого лошади были потверже, – взвод вьючных пулеметов и небольшой обоз оторвались от армии и на рысях пошли в степь, на запад.

Однако на первом же привале бойцы окружили своего командира:

– Куда идем и зачем?

Чернояров развернул карту – исчерченный химическим карандашом лоскут столовой клеенки – и повел пальцем по таинственным значкам, которые одному ему и были ведомы:

– Идем на Эргедин худук (колодец). Хахачин худук, Цубу, Булмукта худук, Ыльцрин, Тюрьмята худук… Отсюда, старым чумацким шляхом, берем направление на Яшкуль, Улан Эргэ, Элисту и выходим под Царицын на соединение с дивизией Стожарова: этот не выдаст, этот постоит за партизанскую честь… А там и до Москвы недалече. Поеду до батьки Ленина. Не верю, чтоб на свете правды не было.

– Все это так, Иван Михайлович, – вздохнул Игнат Порохня, – а скажи нам, сколько наберется верст до того клятого Царицына?

Спичкой и суставами пальцев Иван долго вымерял свою карту и наконец ответил:

– Пятьсот верст, да еще, пожалуй, и с гаком наберется.

Стон изумления качнул бойцов:

– Ой, лишенько… Пятьсот, да еще и с гаком?

– Пятьсот верст дикой калмыцкой степи…

– Не дойдем. Подохнем.

Все долго молчали, собираясь с мыслями… И за всех сказал эскадронный Юхим Закора:

– До Царицына нам не дойти… Кони откажут… Второпях урвали самую малость фуража… Два-три дня, и коней нечем будет кормить. Мало у нас сухарей, мало и вина, а вода в колодцах, ну ее к черту, соленая… Что будем делать?

Чернояров внимательно оглядел приунывших людей, и его выгоревшая в цвет спелого хлебного колоса бровь дрогнула.

– Да, ребята, не дойдем до Царицына – кони откажут… Незачем всем нам гибнуть за зря. Кто хочет – возвращайся. Мне возврату нет… Клянусь, чтоб шашка моя не рубила, никому из вас не скажу ни слова упрека. Не щадя ни своей, ни чужой крови, мы честно прошли свой путь. Спасибо за службу… Останемся живы – опять слетимся под одно знамя, и враги не будут знать, куда бежать от наших шашек!.. Ну, а ежели встретиться не судьба, не поминайте лихом! – Голос его дрогнул и осекся.

Бойцы прощались с любимым командиром, и многие плакали, как малые дети, – навзрыд.

И вот, под командой Юхима Закоры, отряд подбористым шагом двинулся обратно на астраханский шлях, стороною обходя Яндыки. Чернояров – с кургана – долго смотрел им вослед, и в глазу его горькая дымилась слеза…

С комбригом остался Шалим, осталось десятка два всадников, решившихся до конца разделить участь своего ватажка.

Дикий ветер

древние курганы

мертвые сыпучие пески…

Шли день и ночь, не встречая ни одной живой души. Голодали люди. Кони от голоду грызли друг другу хвосты и гривы.

Изредка присаживались подремать у костра, сложенного из колючки и шаров перекати-поля. В котелках топили снег, жевали вываленные в горячей золе ломти конины, доедали последние сухари. Потом живые подымались и шли дальше, ведя в поводу обессилевших коней; мертвые и умирающие, точно задумавшись, оставались сидеть у потухших костров: с небритых подбородков стекала и намерзала до земли сосулькой тифозная слюна.

Чернояров – обложенный подушками, укрытый одеялами – ехал в тачанке. Временами он впадал в беспамятство и бредил:

– Где я? Где бригада?

– Все тут, все с тобой… Лежи, пожалуйста, смирно, – укутывал его Шалим одеялами.

– Пи-ить… Пи-ить…

Кто-нибудь из бойцов придерживал голову командира, а Шалим осторожно концом кинжала разнимал его сцепленные зубы и вливал в рот несколько глотков вина. Затем совал и проталкивал пальцем в горло кусочки сала.

– Ешь, Ванушка… Пожалуйста, ешь… Твоя, кунак, надо выздоравливал.

Больной порывался вскочить и дико орал:

– Лошади спутаны!.. Шалим, распутай постромки!.. По-о-о-олк, шашки к бою!

Первое время шли по колодцам, но вот наезженная дорога разменялась на черные тропы – и отряд сбился с пути.

Отставали

падали люди

и последние кони.

На седьмые сутки вчетвером – обмороженные и полумертвые – они вышли на село Солдатское, Ставропольской губернии, где и были схвачены сторожевой неприятельской заставой.

Чернояров очнулся в хате. Трое его товарищей валялись рядом с ним на земляном полу. Подпирая горбом дверной косяк, дремал богатырского вида казачина в погонах младшего урядника.

– Какой станицы? – спросил у него Иван.

– Кореновской.

– Эге. Добрую я у вас церковь спалил.

– А ты що за цаца?

– А ты как думаешь?

– Нечего мне и думать… Вот захочу да сапогом в морду и двину.

– Я – Чернояров.

– Чур меня, чур, бисова душа, – урядник отпрянул и чуть не выронил из рук винтовку.

– Уу, шкура, и за что вас Деникин кашей кормит? – Бледная улыбка осветила его исхудавшее лицо.

Под конвоем пленники были доставлены в заштатный городишко – Святой Крест. Шалима и бойцов посадили за решетку в комендантском управлении, а Черноярова – сам идти не мог – два казака под руки отвели на квартиру, где он был острижен, вымыт, переодет в свежее белье и уложен в постель.

По нескольку раз на день к нему заходил военный врач, забегал однорукий комендант города:

– Здравствуйте, дорогой. Как себя чувствуете? Чем вас сегодня кормили? Не прислать ли табачку?

– Где мои бойцы и адъютант Шалим? Мне приснилось…

– Не волнуйтесь, мой добрый пленник… Ваши люди направлены в лазарет и по выздоровлении будут служить у меня в комендантском управлении.

– Не будут они у тебя служить, комендант, – улыбнулся Чернояров, – убегут.

Он не знал, что все трое были уже расстреляны.

Однажды дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел, звеня шпорами, офицер.

– Встать! – скомандовал он.

– Чего вам от меня надо? – простонал Чернояров. – Голову или ноги? Голова, вот она, а ноги не служат.

– Впрочем, лежите. – Офицер оправил под головой больного подушки, подоткнул одеяло. – Сюда идет его превосходительство начальник дивизии генерал Репрев. Уж вы, не знаю, как вас титуловать, ради бога, не подведите.

В сопровождении штабной челяди вошел грузный генерал.

– Ты и есть Чернояров? – простуженным и гулким голосом спросил он, с любопытством разглядывая партизанского ватажка. – Здорово, джигит… Наконец-то образумился и перебежал к нам, и отлично сделал. Я прямо с фронта, и вдруг слышу – так и так. Зайду, думаю, погуторю со старым знакомцем. Помню твою геройскую атаку под станицей Михайловской. И Козинку помню. Да и на Тереке наши полки не раз сходились на удар. Молодец, молодец. – Генерал сел в кресло и вытянул ноги в порыжелых, забрызганных грязью сапогах. – Ты казак. Твои отцы и деды воевали за порядок и законность. И ныне доблестное кубанское войско не кладет охулки на руку. Отлично, сукины сыны, дерутся. Сегодня же пошлю в штаб корпуса телеграмму и испрошу для тебя помилование. Поправляйся – и, с богом, на коня. Дам тебе полк, и, верю, честной службой ты смоешь с себя позорное клеймо. Ты храбрый вояка. Нам такие нужны. Далеко гремит твоя слава. Твой пример отрезвит одураченных казаков, которых еще немало путается у красных. Все казаки образумятся и перебегут к нам. Тогда ты уже будешь командовать бригадой, а может быть, и дивизией… А там, бог даст, и война кончится…

Чернояров дрожащей рукой потер черную обмороженную щеку и с твердостью сказал:

– У меня, ваше превосходительство, душа прямая… Не умею хвостом вилять. Жизнь – копейка… Сколько раз я ее ставил на карту! Мне ничего не страшно. Чем в кривде мотаться, лучше за правду умереть! За погоны служить не хочу. Вы были, есть и будете моими заклятыми врагами.

Генерал откинулся на спинку кресла и гулко расхохотался:

– Ха-ха-ха-ха. Молодец! Хвалю за отвагу… Но, голубчик, какие же мы враги? У нас один бог и одна родина… Большевики хотят искоренить казачество, и, я знаю, ты сам оттуда еле ноги унес… Большевики разоряют святые церкви и грабят народ…

– На меня не большевики напустились, а изменщики, что засели в штабах.

Генерал долго говорил о большевиках и о их дьявольских планах, о роли Добровольческой армии.

Чернояров утомился и впал в полузабытье. На лбу его крупными каплями выступил пот. Острая боль перелетала по суставам ног и рук, ломала поясницу, колола сердце. Плыли, струились пунцовые цветы на одеяле… А над ухом монотонный голос гудел и гудел:

– Русская армия… Казачество… Слава… Долг перед родиной…

– Уйди! – вдруг бешено выкрикнул Чернояров и схватил со стола чугунную пепельницу. – Уйди, б…, с глаз долой! Поговорил бы я с тобой, да не тут! Ээх… – И яростный вопль вырвался из груди его.

Генерал поднялся, надушенным платком отер усталое лицо и, уходя, распорядился:

– Повесить!

Взяли его той же ночью, вывезли на базарную площадь и повесили. До самой последней смертной минуты он обносил палачей каленым матом и харкал им в глаза.

На грудь ему нацепили фанерную дощечку с жирно измалеванной надписью:

ИВАН ЧЕРНОЯРОВ
БАНДИТ И ВРАГ РУССКОГО НАРОДА

Курганы

на кургане дремал сытый орел, вполглаза взирая на мятущихся по дорогам людей. Вороны с хриплой руганью делили добычу, раздирая куски мяса и волоча по пескам размотанные мотки серых кишок.

Балки

в балках прятались одичалые репьястые собаки с мордами, слипшимися от крови. Обожравшиеся вислобрюхие волки, жалобно скуля и стеная, катались по сухой траве.

Хутора

на хуторах мертво и глухо. Ветер мёл-завивал золу и песок, шуршал в заклеенных бумагой окнах. Уцелевшие хаты были полны мертвяками, и по мертвым, как раки, ползали умирающие.

Армия

армию топтала вошь. Остатки некогда грозных полков с кровью, как сквозь шиповый куст, продирались через все преграды и выходили на берег Волги к граду обетованному. Из гноящихся глаз катились слезы радости, и из глоток рвались хриплые крики восторга.

Нагнала весть о гибели Черноярова.

На обрыве, над Волгой, в ожидании парома сидели в кругу несколько бойцов. Допивали последний бочонок вина, вспоминали кубанские станицы, походы и битвы… Вспоминали добрым словом и сумасбродного ватажка Ивана Черноярова.

– Да, почудили! – искорню вывернулся у Максима вздох. – Удалая голова перестала баловать… Приподымем, братцы, наши чарки да помянем казака!..